

A movie poster for the film 'Seven Names' (Семь имён). The background is a painting of a man with curly brown hair, wearing a dark blue pinstriped suit, a white shirt, and a brown striped tie. He is standing in a forest with tall, thin trees and vibrant autumn foliage in shades of orange, red, and yellow. The title 'Семь имён' is written in large white Cyrillic letters at the top, with the director's name 'Пабло Рзег' (Pablo Rzig) above it. A circular '18+' rating logo is in the bottom right corner.

Пабло Рзег

Семь имён

18+

Пабло Рзег
Семь имён

«Автор»

2026

Рзег П.

Семь имён / П. Рзег — «Автор», 2026

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Возрастная категория 18+ Книга содержит описание сцен, не предназначенных для детей.

_____Марк помнит лишь своё имя. Всё остальное приходит обрывками: разные эпохи, разные лица и знания о вещах, которых не должно существовать. Снова и снова он проживает разные жизни, и рядом с ним всегда появляется женщина. Каждый раз Марк уверен, что любит. Но любовь умеет принимать опасные обличья, а человеческие пороки искажают голос любви. Что связывает эти жизни? Почему память ведёт его туда, где он никогда не был? И какое из семи имён на самом деле принадлежит ему? «Семь имён» — роман о памяти, человеческой и религиозной морали, о любви, которая выше всех пороков.

© Рзег П., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Семь имён

Глава

Семь имён

Автор – pablo_rzeg

Москва, июль 2026 г.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Свет

Я остановился у края мостовой, ожидая какого-то знака. Мне казалось, что над улицей должен загореться цветной свет, после которого можно будет перейти. Но прохладный утренний Лондон не собирался давать мне разрешение на переход мостовой. Лондон грохотал, ругался, звенел колокольчиками омнибусов и катил по Холборну такой поток колёс, копыт, тележек и человеческих плеч, будто все жители города решили опоздать одновременно. Недавний дождь ещё блестел между камнями; колёса разбрасывали коричневую воду, торговка водяным крессом кричала у стены, а над крышами висел угольный дым, делавший солнце похожим на медную монету.

Я сделал шаг на мостовую. Сначала увидел лицо кучера — выражение человека, который узнал будущее на секунду раньше остальных. Потом лошади взвились, сверкнули мокрые удила, улица повернулась набок, и что-то тяжёлое ударило меня в грудь.

Боли не было, а был только звук. Он был не громким, как можно было ожидать, а сухим и деловитым: треск дерева, стук железного обода о камень, и короткий крик женщины. Я успел заметить пуговицу, оторвавшуюся от моего сюртука. Она подпрыгнула в грязи и исчезла под колесом. Почему-то это показалось мне несправедливее всего остального.

Земля пахла лошадиным потом, мокрой шерстью и углём. Перед глазами лежал серый камень мостовой, исчерченный тонкими ручейками. По одному из них плыл обрывок афиши с огромным словом «GREAT»; остальная часть была втоптана в грязь. Я подумал, что слово выбрано неудачно.

Кто-то схватил меня за плечо.

— Не трогайте его! — приказал женский голос. — Если у него сломана спина, вы только добьёте его своей заботой.

Рука исчезла, и надо мной возникло лицо в белом чепце. Оно заслонило медное солнце, и на несколько мгновений мне стало легче. Девушка была молода — моложе, чем можно было предположить по её голосу, — но под глазами у неё лежали тени человека, который слишком часто встречает утро на работе. Из-под чепца выбилась тёмная прядь. На щеке виднелось маленькое пятно уличной грязи.

— Вы меня слышите?

Я хотел сказать, что слышу её, кучера, лошадей, торговку, мальчика, предлагавшего публике за пенни посмотреть на мою кровь, и ещё какой-то пронзительный звон, которого, кажется, не слышал больше никто. Но изо рта вышло только дыхание.

Девушка наклонилась ниже.

— Как вас зовут?

Ответ нашёлся сразу.

— Марк.

— Марк, а как дальше?

Как я ни старался, я никак не мог вспомнить, как дальше. За именем не находилось ни фамилии, ни дома, ни лица, которое могло бы узнать меня в толпе.

— Не знаю, просто Марк, — ответил я.

Улица медленно качнулась надо мной, словно Лондон сорвался с привычного места и поплыл куда-то вместе с домами, экипажами и небом. Девушка в белом чепце наклонилась ко мне так близко, что светлая прядь её волос коснулась моей щеки.

— Хорошо, просто Марк. Меня зовут Мэри Рид. Я служу в больнице Святого Варфоломея. Вы меня слышите, Марк?

Я слышал её голос. Сначала я слышал его отдельно от всех остальных: отдельно от торопливого голоса кучера; отдельно от сухого голоса мужчины, требовавшего позвать констебля; отдельно от голоса человека, который сказал, что нужно хотя бы 2 трезвых мужчин, чтобы донести меня; отдельно от неуместно веселого голоса прохожего, который ответил, что с поиском трезвых мужчин на этой улице могут возникнуть проблемы.

Потом разница между голосами исчезла. Слова накладывались друг на друга, ускорялись, слова потеряли смысл, и всё, что я слышал, слилось в один голос. Это был не хор, а единый голос, которому почему-то понадобились десятки чужих ртов. Он звучал сразу над самым моим ухом и в дальнем конце улицы, говорил высоким женским голосом и низким мужским, кричал и шептал одновременно. Я не понимал ни слова, но мне казалось, что он зовёт меня по имени.

Всё, что я видел, тоже начало сливаться воедино. Лицо Мэри, цилиндр над нею, взмыленные морды лошадей; медное солнце; чёрные фасады и мокрые камни мостовой; город, у которого не было ни начала, ни конца, но при этом город был не больше точки в письме от любимой женщины. Краски поблекли; тени сделались прозрачными. Все знакомые и незнакомые мне цвета слились в один белый, он исходил отовсюду и проступал из каждого предмета, заполняя промежутки между домами, людьми и мной.

Я начал слышать каждый удар моего сердца, и каждый удар отражался вспышкой этого и так бесконечно яркого света, проникающего сквозь кожу до самого последнего органа моего тела. Я начал считать эти удары. На седьмой вспышке свет стал настолько нестерпимо ярким, что я открыл глаза.

• • •

Первое, что я увидел, был свет тусклого фонаря. Но светил он так ярко, что сначала я принял его за солнце. Копоть, сырость и годы превратили штукатурку потолка в карту облаков на ослепительно чёрном небе. Из длинных окон под потолком падал холодный свет, в котором медленно двигалась пыль, и спокойствие её движения казалось оскорбительным, потому что было слишком рядом с человеческой болью.

Я лежал на одной из железных кроватей, которые стояли вдоль двух стен с военной прямолинейностью. Кроватей было не меньше двадцати, а между ними оставались узкие проходы, по которым сновали сиделки с тазами, свёрнутым бельём и кувшинами. У дальней стены горел камин, но тепла от него хватало лишь медным чайникам, которые стояли рядом с ним на решётке. Воздух пах мокрой шерстью, щёлочным мылом, уксусом, старой соломой и ещё чем-то сладковатым, чего я никак не мог припомнить.

За окном звонили колокола Смитфилда. Между ударами доносилось мычание скота, гонимого на рынок, крики погонщиков и тяжёлый шум города. Больница не отделяла страдание от обычной жизни, а только помещала его за высокие окна.

Моя правая нога была закреплена между деревянными планками и скрыта под грубой тканью. Каждый удар сердца отзывался в ней тупым толчком. Грудь перехватывало при вдохе; левую сторону головы стягивала повязка. Я попробовал приподняться, но мир немедленно качнулся.

— Если вы желаете снова оказаться на мостовой, то вам по коридору налево, и дальше третья дверь, — сказал женский голос.

Мэри стояла у изножья кровати. Уличное пальто исчезло; теперь на ней было тёмное платье с узкими рукавами, белый передник и тот же чепец, только чистый. Руки у неё были красные от холодной воды и частого мытья. В одной она держала глиняную кружку.

— Где я?

— В больнице Святого Варфоломея. Мужчины называют её палатой Иова, потому что здесь каждый считает себя самым несчастным человеком в Библии.

— А как называют её женщины?

— Женщины называют её «Моя работа».

Она поднесла кружку к моим губам. Вода имела вкус олова, но я пил её жадно. Мэри поддерживала мой затылок ладонью. Этот простой жест был и приятен, и почти невыносим: тело, которое ещё недавно безраздельно принадлежало только мне, теперь нуждалось в разрешении другого человека, чтобы просто выпить воды.

— Сколько я был без сознания?

— Несколько часов. Сейчас близится полдень.

Я посмотрел на окна. Свет за ними был серым и безразличным.

— Какой сегодня день?

— Четверг, восьмое мая.

— Год?

Мэри поставила кружку и внимательно посмотрела на меня.

— Такой же, как вчера. Тысяча восемьсот пятьдесят первый.

Я принял дату как должное, хотя глубоко во мне шевельнулись мысли о другой дате, а также о другом городе, где дома были выше колоколен, улицы светились ночью без газа, а голоса приходили из маленьких чёрных предметов. Мысль исчезла, едва я попытался рассмотреть её внимательнее.

— Значит, четверг, — сказал я. — Всё в соответствии с планом, как раз по четвергам со мной всегда случаются неприятности.

Мэри отвернулась, но я заметил, что она снова улыбнулась.

У соседней кровати пожилой мужчина с серой бородой просил табаку. Ему отвечали, что после операции табак его убьёт. Старик уверял, что это единственная причина, по которой стоит курить. Через проход лежал юноша с забинтованными руками; он смотрел в потолок и беззвучно двигал губами, словно продолжал спор, начатый до несчастья. В дальнем конце палаты кто-то стонал ровно и терпеливо, почти в такт уличному шуму.

Я потянулся к стене у кровати. Мне казалось, что там должна находиться маленькая кнопка, достаточно нажать её — и над дверью вспыхнет свет, сообщая, что мне нужна помощь. Пальцы нащупали только холодную штукатурку и шнур колокольчика.

— Что вы ищете? — спросила Мэри.

— Кнопку.

Она посмотрела на меня внимательнее.

— Видимо, удар по голове был серьёзнее, чем кажется.

В палату вошёл высокий человек в чёрном сюртуке. За ним следовали двое молодых мужчин, один нёс кожаный футляр, другой — тетрадь. Высокий человек шёл не торопясь, и больные умолкали ещё до того, как он подходил к их кроватям. Его седые бакенбарды были выстрижены аккуратнее всей палаты.

— Добро пожаловать в больницу, мистер «просто Марк», — неуместно веселым тоном сказал мужчина, — Я заведующий хирургией, меня зовут Доктор Уиткомб.

Он осмотрел мою голову, ощупал рёбра и попросил пошевелить пальцами ноги. Его руки были чистыми, с короткими ногтями, но совершенно голыми. Я испытал внезапное, почти животное беспокойство. Мне казалось, что он должен надеть что-то тонкое, плотно облегающее пальцы, а затем выбросить это сразу после осмотра.

— Что такое? — спросил хирург, заметив мой взгляд.

— Вы вымыли руки?

Молодой человек с тетрадью кашлянул, скрывая смех. Доктор Уиткомб посмотрел на свои ладони.

— До вас я осматривал мистера Пимма, а мистер Пимм, смею заметить, не заразен.

— Я спрашивал не о мистере Пимме.

— Для человека, который не может вспомнить свою собственную фамилию, вы слишком настойчивы.

Он произнёс это без злости, но слова про мою фамилию проšliсь по моим мыслям, как тяжёлые сапоги по мостовой Лондона.

Осмотр продолжался. Когда мистер Уиткомб коснулся правой ноги, из моего рта вырвался звук, не похожий на человеческую речь. Мэри положила руку мне на плечо. Я схватился за неё и сжал сильнее, чем следовало. Она не отдернула пальцев.

— Кость сломана, — сказал хирург. — Рана загрязнена. Её придётся очистить и правильно сложить отломки. Но меня больше беспокоит грудь. Если ночь пройдёт спокойно, утром мы займёмся ногой.

— А если ночь не пройдёт спокойно?

Доктор Уиткомб закрыл кожаный футляр.

— Тогда нога перестанет быть вашей главной заботой.

Он ушёл к следующей кровати. Молодые люди последовали за ним, записывая мою боль так старательно, словно она могла пригодиться им на экзамене.

Мэри освободила руку. На её пальцах остались красные следы от моих ногтей.

— Простите.

— Если выживете, я потребую извинения получше.

— А если нет?

— Тогда мне придётся довольствоваться этим.

Она поправила одеяло и собралась уйти.

— Мэри.

Она остановилась.

— Вы были там, на улице. Почему?

— Потому что шла на работу.

— Нет. Почему вы остались?

— Потому что вы были под экипажем.

— Но большинство остальных людей только смотрели.

— Большинство людей не умеют ничего другого.

Она сказала это просто, без гордости. Затем отошла помочь старику, требовавшему табака, а я впервые почувствовал ревность к умирающему человеку.

• • •

После полудня пришёл констебль. Его мундир пах дождём, кожей и улицей. Он снял шлем, но не выражение служебного недоверия.

— Имя?

— Марк.

— Фамилия?

— Имя Марк — это всё, что у меня есть.

— Адрес?

Я закрыл глаза. Лондон распался на названия: Чипсайд, Стрэнд, Блумсбери, Бейкер-стрит. Я знал, где они находятся. Мог представить изгиб Темзы, мосты, церкви и вокзалы. Более того, я помнил какие-то другие вокзалы, спрятанные под землёй, хотя сама мысль казалась бессмысленной. Но ни одна улица в моей памяти не вела домой.

— Не знаю.

— Род занятий?

Передо мной возник стол, покрытый бумагами; потом гладкая поверхность, на которой светились строки; потом окно на огромной высоте, за ним — стеклянные здания. Ни один образ не задержался.

— Возможно, я служащий.

— Какой именно?

— Не знаю, но, вероятно, не очень хороший служащий.

Констебль посмотрел на Мэри, словно она несла личную ответственность за мою память.

— При нём ничего не нашли?

— Несколько монет, ключ и платок, — ответила она. — На платке нет метки.

— А от чего ключ?

— Если обнаружите в Лондоне дверь, которую он отпирает, сообщите нам.

Я смотрел, как перо констебля выводило какие-то слова на бумаге. Чернила блеснули несколько секунд, потом высохли, он отдал листок Мэри.

— Когда память вернётся, передайте информацию в участок, — коротко бросил он мне на прощание.

— А если не вернётся?

— Тогда Англии придётся придумать вам фамилию и род занятий.

Это звучало почти как угроза.

После его ухода я попросил Мэри показать запись. Она повернула тетрадь ко мне.

— «Марк, фамилия неизвестна. Адрес неизвестен. Род занятий не установлен. Вероятно, есть преступные наклонности», — прочитал я. — Да, это не самая впечатляющая биография.

— Зато у вас есть преимущество перед остальными: вы можете начать с чистого листа.

Я рассмеялся и тут же пожалел об этом; грудь пронзило болью. Мэри помогла мне устроиться на подушке. За окнами туман смешивался с дымом. Свет угасал рано, хотя до вечера оставалось ещё несколько часов. Газовые рожки в палате зажгли один за другим; они вспыхивали с мягким хлопком, и вокруг каждого дрожал желтоватый ореол. От этого стены стали темнее, а лица больных — старше.

• • •

Принесли ужин: жидкий бульон, хлеб и чай, в котором угадывалась только горячая вода. Мэри кормила меня с ложки. Я пытался делать вид, что это унижает меня меньше, чем на самом деле.

— Вы всех кормите лично?

— Только тех, кто задаёт слишком много вопросов.

На её запястье темнел синяк. Наверное, я оставил его, когда хирург осматривал ногу.

— Мне действительно жаль.

— Вы уже извинялись.

— Вы сказали, что потребуете извинения получше.

— Я сказала: если выживете.

— Значит, пока вы не хотите тратить хорошее извинение впустую.

Мэри опустила ложку в миску.

— Вы всегда шутите, когда боитесь?

Я хотел ответить шуткой, но не нашёл её.

— Не знаю, — сказал я. — Не помню, как именно я обычно боюсь.

Она поставила миску на табурет. Впервые её взгляд утратил деловую твёрдость.

— Доктор Уиткомб хороший хирург, и вы вспомните все свои страхи.

Я усмехнулся краешком рта и посмотрел вдоль палаты. Старик наконец получил табак и теперь спал, прижав незажжённую трубку к груди. Юноша с забинтованными руками отвер-

нулся к стене. Сиделка у камина складывала простыни; они вспыхивали белым в свете газа и тут же темнели снова.

— Странно, — сказал я. — Я не могу вспомнить ни одного человека, который должен обо мне тревожиться. Но чувствую, что такой человек есть.

— Может быть, память вернётся ночью.

— А если я умру раньше?

— Не говорите так.

— Почему? Здесь все думают об этом. И у остальных хотя бы есть имена, которые можно написать на камне.

Мэри нахмурилась и не нашла, что ответить. Из коридора донёсся звон металлического таза. Где-то хлопнула дверь, и вместе с холодным воздухом в палату проник запах дождя.

— Важно не имя, а тот, кто остаётся рядом и не смотрит на имена, — сказала Мэри.

Она поднялась.

— Моя смена заканчивается через час.

— А кто будет здесь ночью? — с почти детской паникой спросил я.

— Миссис Браун, она поможет, если вдруг начнется кровотечение.

Я уже знал, кто такая миссис Браун: крупная женщина с лицом, способным остановить одним лишь взглядом и кровотечение, и небольшую революцию, и движение Солнца в небе.

— Мне кажется, она меня не любит.

— Миссис Браун никого не любит после девяти вечера.

— А вы? Вы кого-нибудь любите после девяти вечера?

Мэри посмотрела на меня так, будто решала, достаточно ли сильно я ударился головой, чтобы простить вопрос.

— Спите, просто Марк.

• • •

Днём страдание в больнице было занято: его мыли, перевязывали, записывали в тетради, переносили с кровати на кровать. Ночью страдание оставалось без дела и становилось огромным.

Газовые рожки убавили. Палата погрузилась в коричневый полумрак. Железные спинки кроватей отбрасывали на стены длинные тени, похожие на решётки. Камин погас; с пола тянуло холодом. За окнами дождь шуршал по стеклу, а город всё ещё двигался — глухо, тяжело, словно большое животное во сне.

Мне казалось, что грудь стягивает ремнями. Вдох приходилось отвоёвывать. Я пытался представить своё прошлое, но всякий раз видел только отдельные комнаты, не соединённые коридорами. В одной комнате женщина стояла спиной к окну. В другой на столе лежал маленький светящийся прямоугольник, в котором отражалось лицо ребенка. В третьей я смотрел на себя в зеркало и был старше, чем сейчас. Женщина во всех комнатах была одна и та же, но я не мог увидеть её лица.

Я потянул за шнур колокольчика. Пришла миссис Браун. Она проверила повязку, велела терпеть и исчезла. Через несколько минут я позвонил снова. На этот раз никто не пришёл.

Я лежал, слушая собственное дыхание, пока оно не стало казаться дыханием другого человека. В какой-то момент я понял: если перестану дышать, никто в мире не узнает, что исчез именно я. Умрёт мужчина без фамилии, адреса и прошлого. Утром его кровать застелют чистой простынёй, а в тетради останется одна строка, которая ничего не объясняет.

— Мэри! — позвал я без всякой надежды, хотя знал, что она уже ушла.

Через несколько минут она вновь появилась в проходе с лампой. На ней было тёмное пальто, но чепец оставался на голове. Капли дождя блестели на плечах.

— Я забыла перчатки.

— Они же у вас в кармане.

Мэри посмотрела на карман, из которого действительно выглядывала перчатка.

— Значит, я забыла что-то другое.

Она поставила лампу на табурет и села рядом. От неё пахло улицей, дождём и слабой лавандой.

— Вам стало хуже ночью?

— Нет. Мне стало страшнее.

— В темноте это одно и то же

Мэри сняла мокрые перчатки. Несколько мгновений она грела руки над лампой.

— Мой брат однажды лежал в этой палате, — сказала она. — Мне было семнадцать. Я приходила каждый день, но в последнюю ночь меня отправили домой. Сказали, что я мешаю. Утром его уже не было.

— Поэтому вы здесь работаете?

— Нет. Поэтому я не ухожу, когда меня просят уйти.

Я смотрел на её лицо, освещённое снизу. Оно не было прекрасным в том безупречном смысле, который так любят мамы у своих дочерей. Нос чуть отклонялся влево, кожа обветрилась, на лбу залегла ранняя складка. Но именно несовершенства делали её лицо настоящим. Мне хотелось запомнить его на случай, если собственное мне больше не понадобится.

— Мне кажется, я вас знаю, — сказал я.

— Это последствие удара.

— А если я скажу, что всю жизнь искал женщину по имени Мэри?

— Я скажу, что вы выбрали самое распространённое имя в Англии и значительно увеличили свои шансы.

Я улыбнулся. Боль не исчезла, но отступила ровно настолько, чтобы между нами поместился этот разговор.

— Вы верите в Бога? — спросил я.

Мэри поправила фитиль лампы.

— Я верю, что Ему следовало сделать человеческие кости прочнее.

— А душу?

— Душа, судя по моему опыту, ломается чаще. Но люди жалуются на кости.

Я повернул голову к окну. За стеклом не было видно ничего, кроме дрожащего отражения лампы.

— Если я не вспомню, кто я, останусь ли я тем же человеком?

— Вы задаёте вопросы, на которые священники отвечают слишком долго, а врачи — слишком быстро.

— Оставайтесь до утра.

Она посмотрела на меня. В просьбе не было достоинства, да я и не пытался его сохранить.

— Хорошо, — сказала Мэри. — Но, если вы уснёте, я уйду.

— Тогда я не усну.

— Все мужчины обещают одно и то же.

Она взяла мою руку. Не как возлюбленная и не как сестра — просто чтобы я чувствовал рядом другое живое тело. Её пальцы были холодными. Через некоторое время они согрелись, или остыла моя рука; я не мог определить.

Так мы сидели, пока больница дышала вокруг нас. Иногда Мэри вставала, чтобы помочь миссис Браун. Она возвращалась, и каждый раз я испытывал облегчение, непропорциональное длине её отсутствия. Мы говорили о пустяках: о плохом чае, о торговцах на Смитфилде, о голубях на крыше больницы, которые были толще некоторых пациентов. Она рассказала, что живёт в Клеркенуэлле с тёткой, считающей больницу неподходящим местом для женщины. Я сказал, что тётка, вероятно, никогда не попадала под экипаж.

— Почему вы уверены? — спросила Мэри.

— Такая женщина заставила бы экипаж извиниться.

Мэри рассмеялась — впервые не уголком рта, а по-настоящему. Смех изменил её лицо, и у меня возникло резкое ощущение утраты. Будто я уже слышал этот смех много лет назад и с тех пор успел его лишиться.

— Что с вами?

— Мне показалось, что я вспомнил.

— Что именно?

— Как кто-то смеялся так же.

— Мужчина или женщина?

— Я не помню.

— Как звали его или её?

Я вслушался в пустоту памяти. Там было имя, начинавшееся с бесконечно мягкого слога Ма...

Ма... Ма... Ма... Ма... Я не мог вспомнить ни звучание имени, ни движение губ, когда я произносил его в прошлом, ни его написание, когда я писал его в будущем.

— Не знаю.

Мэри коснулась тыльной стороной пальцев моего виска и нежно, как будто случайно, коснулась краешков моих бровей, задержав пальцы на висках чуть дольше, чем это требовалось для проверки жара.

— Я здесь, Марк, — сказала она, и я закрыл глаза.

...

Утро пришло не светом, а шумом. В коридорах загрохотали вёдра, заскрипели колёса тележки, открылись двери. Над Смитфилдом закричали погонщики. Газ погасили, и палата медленно наполнилась голубоватым рассветом.

Мэри явилась раньше мистера Уиткомба. В одной руке она держала два деревянных костыля, в другой — мой сюртук, очищенный от уличной грязи настолько, насколько это вообще было возможно.

— Одевайтесь, — сказала она. — Мы идём гулять.

Я посмотрел на лубки, между которыми покоилась моя правая нога.

— Вы уверены, что понимаете значение слова «гулять»?

— Вполне. Это когда человек некоторое время находится не там, где его успели невзлюбить.

— А мистер Уиткомб разрешил?

— Он запретил вам наступать на правую ногу. На неё мы наступать не будем.

Она сказала это так, словно между послушанием и непослушанием существовала тонкая дорожка и Мэри давно научилась ходить точно по ней.

Подняться оказалось труднее, чем я предполагал. Когда больная нога оторвалась от постели, в ней будто проснулся тяжёлый колокол. Мэри подставила плечо; я обнял её за шею, стараясь убедить себя, что делаю это исключительно ради равновесия. Её ладонь легла мне на спину и задержалась там на одно мгновение дольше, чем требовала осторожность.

— Если упадёте, — сказала она, — я оставлю вас лежать и позову тех двоих трезвых мужчин, которые несли вас сюда.

— Думаю, вы так и не нашли трезвых.

— Вы правы, поэтому постарайтесь не падать.

Мы вышли из палаты. Я переставлял костыли, переносил вперёд левую ногу и подтягивал за собой правую, не позволяя ей коснуться пола. Мэри шла рядом, не поддерживая меня, но всё время держа руку возле моего локтя. Это было почти оскорбительно: я хотел либо полной помощи, либо полной свободы, а она оставляла мне достоинство ровно до той секунды, когда оно могло стать опасным.

Больница раскрывалась передо мной не одним зданием, а целым небольшим городом. Новые кирпичные корпуса прислонялись к старым каменным стенам; лестницы неожиданно уходили вниз, переходы огибали внутренние дворы, а за дверями, похожими одна на другую, помещались палаты, кухни, кладовые, комнаты сестёр и тесные жилища служителей. Повсюду двигались люди: больные в серых халатах, женщины с корзинами белья, ученики хирургов, священники, носильщики и посетители, не решавшиеся говорить громко.

В самом сердце этого беспорядка стояла церковь. Вернее, больница и церковь так давно вросли друг в друга, что уже нельзя было понять, какое здание приютило другое. Одна стена галереи пахла известью и лекарствами; противоположная была сложена из потемневшего камня, хранившего холод многих столетий. Над дверью часовни висел деревянный крест. Под ним стояла скамья, на которой дремал человек с перевязанной головой.

— Удобно, — сказал я. — Здесь лечат сразу обе половины человека.

— Иногда они спорят, какая из них больна сильнее.

Из часовни донёсся голос. Он не был громким, но своды подхватили его и вынесли в галерею уже очищенным от человеческого дыхания. Мэри замедлила шаг. Я тоже остановился, хотя остановка далась мне труднее движения.

Двери были раскрыты. За ними в полумраке сидели несколько больных, две сестры, старуха с корзиной и мальчик в слишком большом воскресном сюртуке. На кафедре стоял молодой священник. Свет узкого окна падал ему на плечо, оставляя лицо в тени.

Я успел только на самый финал проповеди.

— И сотворил Бог мир, и сказал, что это хорошо.

— И сотворил Бог человека, и вложил Он в него любовь, дабы тесно не было сердцу человеческому в пределах одной судьбы.

Голос прошёл под сводами и вернулся тише. Я почувствовал, как Мэри перестала следить за моей больной ногой и посмотрела внутрь часовни.

— И увидел Дьявол любовь и возненавидел её и внёс он в неё пороки.

Священник положил обе ладони на края кафедры.

— И явились те пороки под семью именами. И было первое имя — гордыня, второе — алчность, третье — зависть, четвёртое — чревоугодие, пятое — гнев, шестое — лень, седьмое — похоть.

При слове «семь» что-то отозвалось во мне. Не память — скорее ожидание памяти, как если бы за закрытой дверью один за другим прошли семь человек и каждый на мгновение задержался у порога. Я не видел их лиц. Мне казалось только, что все они однажды назовут меня по имени.

Священник несколько неприлично для проповеди чихнул. Затем в часовне стало так тихо, что я услышал, как далеко в палате звякнуло стекло, и продолжил.

— И каждое имя говорило человеку: «Я и есть любовь».

— И верил человек каждому.

— Но была любовь прежде них всех.

Я посмотрел на Мэри. Она стояла совсем близко, и в тусклом свете её лицо казалось спокойнее, чем ночью. Мне вдруг захотелось спросить, каким именем назвала бы себя любовь, если бы ей не позволили выбрать имя Мэри. Я не спросил.

Священник поднял голову.

Последние слова священника исчезли не сразу. Они задержались под каменными сводами, потом в галерее, потом — уже без голоса — где-то у меня в груди.

Мэри первой тронулась с места.

— Это была проповедь или предупреждение? — спросил я, догоняя её одним неловким прыжком.

— В больнице разница невелика.

— Как вы думаете, какое из семи имён досталось мне?

Она окинула меня взглядом — от повязки на голове до ноги, подвешенной между костылями.

— Просто Марк, — сказала она. — Для сегодняшнего утра этого достаточно.

Мы продолжили прогулку. Теперь Мэри всё-таки взяла меня под руку. Я не возражал. За нашей спиной священник начал говорить дальше, но слов уже нельзя было разобрать; остался только голос, смешивавшийся со звоном посуды, шагами, кашлем и далёким колокольным ударом. Церковь и больница снова говорили одновременно, каждая на своём языке.

Когда мы вернулись в палату, я устал так, будто пересёк весь Лондон. Мэри помогла мне лечь, сняла шютрук и поставила костыли у стены.

— Не говорите мистеру Уиткомбу, что мы гуляли, — сказала она.

— Я скажу, что вы похитили меня против моей воли.

— Тогда он поверит только второй половине.

Мистер Уиткомб появился без шютрука, в закатанных рукавах и тёмном переднике. За ним вошли помощники. Один нёс таз, другой — стеклянный флакон и сложенную ткань.

Я сразу узнал назначение флакона, хотя не мог вспомнить, откуда. Знал запах ещё до того, как пробку вынули. Знал, что ткань положат мне на лицо. Знал, что сначала возникнет тепло, потом звон и ощущение падения.

— Вы уже делали это со мной? — спросил я.

Мистер Уиткомб решил, что вопрос обращён к нему.

— Лично с вами — нет. Но уверяю, вы не первый человек, которого переехал экипаж.

— Утешает сама статистика.

Слово показалось ему странным, но он не стал переспрашивать.

Мэри помогла переложить меня на узкую тележку. Она не передевалась и выглядела так, словно ночь прошла по её лицу тяжёлыми башмаками.

Тележка двинулась по уже знакомому коридору. Потолочные балки проплывали над мной одна за другой. Из открытых дверей тянуло паром, хлебом, мочёным бельём и холодом. Мы миновали часовню; служба закончилась, двери были прикрыты, но мне всё ещё казалось, что под каменными сводами звучат последние слова проповеди. За следующим поворотом воздух стал резче. На стене висели кожаные передники, и один из них медленно раскачивался, хотя никто к нему не прикасался.

Комната для операций была небольшой и слишком светлой. Высокое окно выходило во двор. В сером утреннем свете блестели металлические инструменты, разложенные на белой ткани. Вдоль стены поднимались деревянные скамьи для учеников. Несколько молодых людей уже сидели там, стараясь выглядеть опытнее своего возраста.

Меня охватило унижение сильнее страха.

— Они будут смотреть?

— Да, конечно, ведь они будут учиться, — сказал мистер Уиткомб.

— На мне?

— Постарайтесь лечь покрасивее и быть поучительным для них.

Помощники подняли меня на стол. Дерево под простынёй оказалось холодным. Ремень лёг поперёк бёдер.

Я посмотрел на Мэри.

— А вы тоже останетесь?

— Я уйду, когда вы уснёте.

— Вы уже говорили это ночью.

— Да, и вы всё-таки уснули.

— Значит, вы ушли?

— Нет, — с небольшой паузой ответила Мэри.

В этом коротком ответе было больше, чем я мог вынести. Я отвернулся, чтобы она не увидела моего лица.

Мистер Уиткомб что-то объяснял ученикам: положение кости, глубину раны, опасность лихорадки. Его голос звучал ровно, будто речь шла о механизме, который можно разобрать и собрать заново. Я подумал, что тело действительно является механизмом, но человек — нет. Человека нельзя собрать только из частей, особенно если он не помнит, кому они принадлежали.

Помощник налил жидкость на ткань. В воздухе распространился сладкий, удушливый запах.

— Глубоко дышите, — сказал он.

Я отодвинул маску.

— Мэри.

Она подошла ближе.

— Если я не проснусь...

— Проснётесь.

— Вы не можете знать.

— Не могу.

— Тогда зачем говорите?

— Потому что сейчас вам нужна не правда.

Я хотел возразить. Но понял, что она права, и это было последним унижением, которое я принял добровольно.

— Скажите ещё раз.

Мэри коснулась тыльной стороной пальцев моего виска.

— Я здесь, Марк.

Ткань опустилась на лицо. Запах заполнил рот и лёгкие. Газовый свет — хотя в комнате не было газа — вспыхнул за закрытыми веками. Где-то далеко зазвенело. Я услышал голос, просивший считать в обратном порядке.

— Десять, — сказал я.

Деревянные стены операционной отступили.

— Девять.

Скамьи поднялись вверх, словно я смотрел на них со дна колодца.

— Восемь.

Лицо Мэри отдалилось. Белый чепец растворился в ослепительном свете, а больничное окно вытянулось и стало французским окном под самой крышей незнакомого дома.

Я хотел произнести «семь», но не вспомнил, какое число следует дальше.

Когда зрение вернулось, Мэри уже не было передо мной. Рядом стояла совершенно другая женщина. Она говорила по-французски, держала в руке кисть и смотрела не на меня, а на последнюю стену дома, раскрытого перед небом.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Последняя стена

В 1877 году слово «Художник» для меня звучало гораздо значительнее, чем было на самом деле. «Художником» называл меня хозяин дома, когда объяснял новым жильцам, почему из-под нашей двери пахнет скипидаром. «Художником» называл меня торговец красками, прежде чем открыть книгу моих долгов.

Я сам произносил это слово редко и только в тех случаях, когда собеседник не мог попросить доказательств.

Этим прохладным парижским утром Мадлен стояла передо мной в сером платье, испачканном охрой у локтя.

— Не двигайся, — сказала она.

Она смотрела поверх моего плеча на дом, который ломали на другой стороне улицы. От него уже осталась одна стена — высокая, бледная, нелепо обнажённая. Комнаты, прежде скрытые от чужих глаз, теперь висели одна над другой под открытым небом. На третьем этаже сохранились голубые обои; на втором — камин без комнаты; под самой крышей чернела дверь, за которой больше не было ни пола, ни лестницы.

Рабочие внизу разбирали кирпич. Их кирпичи входили в кладку с сухим, уверенным стуком. Пыль лежала на мостовой, на листьях молодых платанов, на цилиндрах прохожих и на булках в витрине пекаря. Лошади переступали в белёсой муке, поднимавшейся от каждого колеса.

Париж казался картиной, которую кто-то начал стирать с одного края, чтобы написать поверх нее другую. Причем, на этом холсте это была уже далеко не первая попытка.

— А я и не двигаюсь, — ответил я.

— Допустим, не двигаешься. Но ты заслоняешь нижнее окно.

— Там уже нет никакого окна. Скорее, его можно назвать «прямоугольная дыра».

— Хорошо, в таком случае ты заслоняешь прямоугольную дыру.

Я отошёл. Мадлен даже не поблагодарила меня и снова коснулась кистью небольшого картона, укреплённого на складном мольберте. Ветер шевелил выбившуюся из-под шляпы тёмную прядь. Когда Мадлен работала, она закусывала левую сторону губы и становилась похожа на человека, который слышит слишком тихую музыку и сердится на весь мир за то, что тот мешает.

Мы познакомились с ней за год до этого в мастерской месье Бонне. Женщинам там разрешалось рисовать гипсовые головы по утрам, пока мужчины ещё спали после вечерних кафе. Мадлен приходила раньше сторожа, разводила огонь и выбирала место у окна. Она рисовала быстро, без робости, а потом соскребала половину сделанного, если находила хоть одну неверную линию.

В первый день нашего знакомства я поправил на ее картине ухо Аполлона.

— Ухо слишком низко, — сказал я.

— У Аполлона или у вас? — спросила она.

Через неделю мы вместе пили дешёвое вино на набережной. Через месяц она переехала в комнату этажом ниже моей. К зиме мы уже не знали, где кончаются её кисти и начинаются мои, а хозяйка перестала считать нас двумя жильцами, хотя плату по-прежнему брала как с двоих.

Я любил Мадлен за то, что она никогда не восхищалась мною из вежливости. Тогда мне казалось, что это самая чистая разновидность любви. Позднее я понял: мы особенно ценим в любимых то, что однажды постарается в них уничтожить.

— Это тот самый дом? — спросил я.

Кисть в её руке остановилась.

— Да, это он. — с небольшой паузой ответила она.

Мадлен выросла здесь же, на улице Сен-Лазар, тогда улица была темнее, страшнее и беднее, чем в наши дни. В голубой комнате третьего этажа спала её мать. У камина на втором отец переплетал книги для людей, которые никогда не поднимались к нему по лестнице. Под крышей жила сама Мадлен; в дождь она ставила медный таз у кровати и представляла, будто спит в лодке.

Теперь префект Осман проводил через кварталы новые проспекты. На планах это выглядело как несколько прямых линий. На земле линии проходили прямо сквозь спальни, кухни, лавки, супружеские ссоры, детские болезни и воскресные обеды. Газеты называли это обновлением Парижа.

— Тебе следовало прийти вчера, — сказал я. — Пока оставалось больше дома.

— Вчера его было слишком много.

— А завтра не останется ничего.

— Вот, поэтому я и пришла сегодня.

Я раскрыл зонт, заслоняя ей солнце, и простоял рядом почти час. Иногда она просила меня смешать краску. Иногда забывала, что я здесь. Для влюблённого мужчины нет более действенного способа почувствовать себя лишним, чем смотреть на любимую женщину, занятую делом, в котором она не нуждается в его помощи. Но одно только присутствие её рядом уже делало меня не лишним в этом мире.

Когда рабочие сделали перерыв, мы сели у стены соседнего дома. Мадлен вынула из корзины хлеб, два яблока и свёрток козьего сыра.

— Ты опять забыла нож, — сказал я.

— Главное, что не забыла взять тебя, — и она, играясь, легонько ткнула меня в живот.

Я разломил сыр мастихином (прим. ред. — специальный инструмент, использующийся в масляной живописи для смешивания или удаления остатков краски). Она засмеялась и стёрла большим пальцем белое пятно с моего рукава. Её палец задержался возле моего запястья, там, где под кожей бился пульс. На мгновение улица, грохот и пыль отступили. Осталось только это прикосновение — простое, доверчивое, почти семейное.

Мне вдруг показалось, что я уже много раз видел, как человек касается другого именно там. Не на улице и не при солнечном свете: вокруг были белизна, гладкий металл, быстрые голоса, а над лицом склонялась женщина в странной маске. Я знал, что под её пальцами должен появиться ряд вспышек и пугающий тонкий писк, но не мог вспомнить, откуда знаю это.

— Что с тобой? — спросила Мадлен.

— Ничего. Ты считаешь мой пульс.

— Я считаю лишние пятна краски. Пульс у тебя слишком высокого мнения о себе.

Она убрала руку, и волнительное ощущение исчезло.

После полудня я ушёл в мастерскую. Мне предстояло закончить «Ахилла у тела Патрокла» — огромное полотно, предназначенное для жюри Всемирной выставки 1878 года. До выставки оставалось еще больше года, но Ахилл уже занимал почти всю нашу комнату и уже почти три месяца мешал открывать шкаф. Его обнажённое плечо было написано по руке грузчика с рынка, шлем — по медному тазу хозяйки, а скорбь — по всем правилам академической композиции.

Я верил в свою картину с той истовой жестокой страстью, с какой молодой человек верит только в то, что должно возвысить его над знакомыми.

Мадлен называла Ахилла «твой большой несчастный мужчина».

— Он недостаточно большой, — отвечал я. — Я бы хотел, чтобы на выставке его повесили выше всех остальных картин.

— Тогда напиши ему ноги длиннее в 3 раза, и всего делов, — расхохоталась Мадлен.

Она почти никогда не спорила о моих картинах серьёзно. Это раздражало меня сильнее критики. Мне казалось, что она не понимает масштаба моей задачи. Я собирался войти в историю искусства, а она писала прачек, разбитые окна, стариков в омнибусах и мокрые крыши.

Вечером она принесла первый этюд стены. Я поставил его на шкаф рядом с гипсовой кистью руки и отошёл.

— Небо слишком зелёное, — сказал я.

— Оно на самом деле было таким из-за пыли.

— Но зритель-то этого не знает.

— Если знаю я, то узнает и зритель, — парировала она.

Я указал на тёмное пятно у камина.

— Здесь нужен человек. Маленькая фигура даст меру.

— Где я тебе возьму человека? Он уже ушёл.

— Тогда хотя бы собака.

— Собака увидела кошку и убежала.

— Мадлен, ты же знаешь, что живопись не обязана подчиняться тому, что случилось.

Она сняла шляпу и встряхнула волосы. В них осталась светлая строительная пыль, и на мгновение она показалась поседевшей.

— И чему же она обязана подчиняться?

Я хотел ответить: художнику. Ответ был настолько очевиден, что не было смысла произносить его. Я ответил, — Конечно, тебе! — и поцеловал её в немного испачканное краской ухо.

• • •

Следующие шесть дней Мадлен возвращалась к стене. Дом становился меньше, а её полотно — больше. Она купила на последние деньги хороший холст, натянула его в моей мастерской и поставила напротив окна. Теперь Ахилл и разрушенный дом стояли лицом друг к другу: герой, оплакивающий друга, и пустые комнаты, в которых оплакивать было некому.

Утром я работал над плечом Ахилла. Мадлен работала сосредоточенно и молча. После полудня я уходил к Бонне или в кафе, где художники заранее распределяли между собой будущую славу.

Возвращаясь, я всякий раз замечал, что стена дома на картине Мадлен изменилась, но не мог сказать как. Однажды на голубых обоях внутри полуразрушенного дома появилась светлая полоска.

— Что это за полоска? — спросил я.

— Рост, разве не понятно?

— Чей рост?

— Мой. Отец отмечал каждый день рождения. Вот пять лет, вот шесть, вот семь. Дальше обои переклеили.

На другой день у камина проступил тёмный прямоугольник.

— Там висел портрет матери, — сказала Мадлен. — Когда она умерла, отец снял его и не смог вернуть на место. Стена осталась светлее, но я пишу тень. Так вернее.

Она добавляла не предметы, а следы от них: круг от чашки на подоконнике, два гвоздя над кроватью, выцветший силуэт шкафа, узкую царапину возле двери. Комнаты освобождались от вещей и наполнялись жизнью. Чем меньше людей было на картине, тем теснее становилось от их присутствия.

Я начал давать советы реже.

По вечерам мы ужинали у окна. Внизу зажигались газовые фонари, и Париж распадался на освещённые островки среди полной тьмы. Из соседней комнаты доносилась скрипка; жилец знал одну мелодию и играл её так упорно, будто надеялся однажды случайно закончить правильно.

— Когда мы разбогатеем, — говорила Мадлен, — у нас будет мастерская на северной стороне Сены.

— Когда я разбогатею, у нас будет две мастерские, с обеих сторон.

— Зачем?

— Чтобы не видеть твою стену рядом с моим Ахиллом.

К моему счастью, Мадлен настолько засмеялась моей несколько неловкой шутке, что слезы от смеха скатились поверх пятен краски на её щеке.

Иногда Мадлен садилась на пол, прислонившись спиной к моим коленям, и читала вслух газету. Мы следили за приготовлениями к Всемирной выставке. В Париж должны были приехать королевы, промышленники, инженеры, торговцы, изобретатели и столько англичан, что владельцы гостиниц заранее простили Британии Ватерлоо. Во Дворце промышленности собирались показывать новые машины, оружие, ткани, сельскохозяйственные орудия и устройство, которое якобы не позволяло подъёмной платформе упасть, если оборвётся трос.

— Представь, — сказала Мадлен, — люди добровольно войдут в коробку, которую поднимут над землёй.

— Скоро они будут делать это каждый день и сердиться, если коробка задержится на несколько секунд.

Она повернула голову.

— Ты иногда говоришь как сумасшедший.

— Человек из будущего всегда кажется сумасшедшим человеку из прошлого.

Фраза показалась мне удачной. Я записал её на полях газеты, чтобы произнести в кафе.

В последний вечер Мадлен не позволила мне смотреть на картину. Она работала до рассвета, а потом уснула на узкой кушетке, не сняв платья. Я нашёл её там утром. Кисть лежала на полу, ладонь была испачкана лазурью, на щеке отпечатался шов подушки.

Я накрыл её своим сюртуком и подошёл к холсту.

Картина называлась «Последняя стена».

Название было написано углём на деревянной планке. Ниже стояло имя: «Мадлен Богарне».

Сначала я увидел знакомый дом. Затем — свет.

Он падал справа, проходил сквозь комнаты, которым больше нечем было его остановить, и превращал остаток стены в нечто среднее между декорацией и человеческим телом. Голубые обои сияли холодно, как зимнее утро. Кирпичи внизу были тёплыми, почти живыми. Лестница, обрывавшаяся на уровне второго этажа, вела прямо в небо. На мостовой рабочий поднял кирку, но его лицо было обращено не к стене, а куда-то за край картины — словно разрушали не дом, а мир, и он первым услышал, как тот треснул.

В центре не происходило ничего. Там была пустая комната. Именно от неё я не мог отвести глаз.

Мадлен оставила на стене светлые отметки роста, две уцелевшие полосы обоев и тень от снятого портрета. Этого было достаточно, чтобы я увидел девочку, её мать и старого переплётчика. Я увидел зимы, которые они пережили, запах супа, мокрые башмаки у двери, отцовскую спину над тиснёным корешком, детскую руку с куском угля. Ничего этого на холсте не было, но всё это находилось внутри него.

Картина не изображала разрушенный дом. Она изображала мгновение, когда чужая жизнь становится видна всем — и уже поэтому перестаёт принадлежать тем, кто её прожил.

Я отступил на шаг.

Мне хотелось коснуться какого-нибудь фрагмента и приблизить его, как если бы поверхность могла послушно раздвинуться под пальцами. На мгновение я увидел картину заключённой в тонкую чёрную рамку, наполненную собственным холодным светом. В углу будто стояло число — множество невидимых зрителей уже посмотрели на неё, оценили и пошли дальше. Потом утреннее солнце легло на лак, и видение исчезло.

Я снова прочитал подпись — «Мадлен Богарне».

Это была великая картина.

Знание пришло сразу, без рассуждений. В нём не было ни дружеской снисходительности, ни любовной слепоты. Напротив — я увидел все достоинства полотна с ясностью хирурга. Композицию нельзя было улучшить. Цвет нельзя было сделать точнее. Даже случайные потёки пыли у нижнего края казались необходимыми.

И в ту же секунду я понял другое: мой Ахилл мёртв.

Он был мёртв не потому, что лежал мёртвым рядом с телом Патрокла. Он был мёртв как картина. В нём имелись верные мышцы, убедительный металл, благородный жест и тщательно написанная скорбь. Не было только того, что находилось в пустой комнате Мадлен: жизни, которой художник не распоряжается, а лишь успевает коснуться.

Даже если бы я написал Ахиллу ноги в 50 раз длиннее, чем должно быть на самом деле, моя картина все равно была бы меньше, чем её.

Я посмотрел на спящую Мадлен.

Мне следовало разбудить её, опуститься рядом и сказать правду. Я почти сделал это. Но во мне поднялось чувство, которое сперва показалось страхом. Оно было холодным, аккуратным и очень разумным.

В течение года я объяснял ей перспективу, исправлял рисунок, выбирал кисти, говорил о Делакруа и Энгре, смеялся над её прачками. Я позволял ей любить себя как человека, который однажды станет знаменитым. На этом невысказанном обещании держалась вся архитектура нашей близости. Теперь одна картина меняла этажи местами. Учитель оказывался учеником, снисходительность — слепотой, великодушие — удобной позой.

Я почувствовал не зависть. Зависть пожелала бы уничтожить полотно. Я хотел, чтобы полотно осталось навсегда в этом мире.

Мадлен шевельнулась под сюртуком.

Я отошёл от картины.

— Ты видел? — спросила она, не открывая глаз.

— Видел.

— И?

В одном коротком слове было больше тревоги, чем она позволяла себе показать за весь год.

— Небо всё-таки слишком зелёное, — сказал я.

Мадлен открыла глаза. Несколько мгновений она смотрела на меня, потом села и забрала сюртук с плеч.

— Значит, получилось.

— Почему?

— Ты говоришь о небе, когда тебе больше нечего исправить.

Она улыбнулась и поцеловала меня в щеку. Я поцеловал её в ответ, но изогнутые вниз кончики губ несколько исказили мою улыбку.

• • •

Жюри выставки принимало работы до шести часов вечера. Женщина могла представить полотно, но Мадлен не хотела сама идти во Дворец изящных искусств. Она говорила, что чиновники смотрят сквозь неё, а если узнают, что она молода и не замужем, то начинают искать взглядом мужчину, которому следует отвечать.

— Отнеси ты, — попросила она. — Тебя они увидят.

Мы завернули «Последнюю стену» в холстину. Мадлен привязала к раме карточку с названием и именем. Её пальцы дрожали, и она дважды переделывала узел.

— Если не примут, — сказала она, — ничего не говори сразу. Принеси домой, поставь у стены и дай мне приготовить ужин. Потом скажешь.

Она обняла меня. Между нами стояла завёрнутая картина, и поэтому объятие вышло неловким. Мадлен рассмеялась мне в шею.

— Если примут, я куплю тебе новый сюртук.

— На какие деньги?

— На те, которые ты зарабатываешь.

Я поцеловал её. Вкус кофе остался на её губах. Она проводила меня до лестницы и долго стояла наверху, пока я спускал полотно, стараясь не задеть стены.

Моего Ахилла мы я с двумя грузчиками отнесли накануне.

У служебного входа во Дворец изящных искусств меня остановил знакомый привратник. За ним, в длинном коридоре, громоздились полотна: мученики, нимфы, генералы, римские сенаторы, бретонские рыбаки и неизбежные Венеры, застигнутые в тот момент, когда им меньше всего хотелось одеваться.

— Лаваль, — сказал привратник, листая список. — Вам уже послали уведомление.

— Какое?

Он нашёл строку и прикрыл её пальцем, словно мог смягчить написанное.

«Ахилл у тела Патрокла» был отклонён.

Я перечитал запись. Возле названия стояла маленькая красная черта. Такой ничтожный знак отменял несколько месяцев работы, долг торговцу красками, медный таз хозяйки, руку грузчика и всё будущее, которое я успел разместить в одном огромном холсте.

— В этом году прислали слишком много исторических композиций, — сказал привратник. — Вы ещё молоды.

Никогда не говорите молодому человеку, что он молод, когда хотите его утешить. Он услышит только: никто.

Я стоял посреди коридора с картиной Мадлен. Служитель спросил:

— Эта тоже ваша?

Вопрос был задан буднично. Ответ мог быть таким же простым.

Я посмотрел на карточку, привязанную к верёвке.

— Да, — сказал я.

Я унёс картину, объяснив, что забыл квитанцию.

На улице шёл тёплый дождь. Он прибавал пыль к мостовой и превращал белые фасады в серые. Я спрятался с полотном под навесом закрытой лавки. Прохожие торопились, прикрывая шляпы газетами. В стекле напротив отражался молодой мужчина, державший чужую картину как дверь, за которой ему позволили укрыться.

Я мог вернуться домой. Мадлен увидела бы моё лицо и всё поняла. Она поставила бы суп, как обещала, а вечером мы, возможно, посмеялись бы над жюри. Я мог сказать ей, что её полотно гениально. Мы могли прожить бедно ещё год, два, пять. Однажды её имя стало бы известно, и люди говорили бы обо мне: тот самый Лаваль, который первым её понял.

В переулке за дворцом находилась мастерская позолотчика, у которого я иногда покупал старые рамы. Он дал мне угол стола, тряпку и растворитель. Я сказал, что автор не слишком грамотен, поэтому неверно написал своё имя.

— Бывает, — ответил он. — Особенно у авторов.

Мне снова привиделась светящаяся поверхность, на которой можно отменить поступок одним прикосновением. Там имя исчезло бы чисто, мгновенно, без запаха растворителя и без грязной краски на пальцах.

Подпись Мадлен стояла в правом нижнем углу, на тёмном кирпиче. Она была маленькой и спокойной. Я смочил тряпку.

«Мадлен Богарне». У неё была такая же фамилия, как у одной из жён великого Наполеона, и мне всегда это немного льстило. Но теперь её фамилия раздражала меня, потому что в ней было целых 7 букв, каждую из которых предстояло тщательно очистить. «Вот если бы её фамилия была, к примеру, «Дьё», это бы сэкономило мне время на очистку целых четырёх лишних букв» — я усмехнулся своим мыслям, которые пришли мне в голову сами по себе.

Первая буква имени — «М».

Поверхность холста сопротивлялась. Уничтожение первой буквы далось мне сложнее всего. Мои действия только размазали её букву, но не уничтожили полностью.

На лбу у меня выступили капли пота, хотя в мастерской было довольно прохладно.

«А».

«Д».

...

Я стирал буквы, и каждая из них была как ступень на лестнице, ведущей к моему величию.

Снятие всех 6 букв её имени заняло чуть больше часа. Имя стало похоже на своё едва заметное отражение в воде во время плотных сумерек.

Немного передохнув, я приступил к фамилии.

«Б».

«О».

«Г».

Глаза у меня сильно слезились не от краски, а от напряженной сосредоточенности. Я даже не заметил, что у меня совершенно затекли ноги.

«А».

«Р».

«Н».

Когда исчезла последняя, седьмая буква «Е», на одном из оставшихся кирпичей полуразрушенной стены осталось мутное пятно. Я смешал краску, восстановил тень и подождал, пока она подсохнет. Потом взял тонкую кисть.

Я написал «Марк Лаваль» поверх получившегося пятна чуть большим шрифтом, чтобы занять освободившееся место и перекрыть надписью испортившиеся участки картины.

Я подумал, что жюри всё равно не примет картину женщины. Без моих уроков Мадлен всё равно не смогла бы написать лестницу. Что великие мастерские веками ставили имя одного художника на работу многих рук. Да и когда появятся деньги, мы поженимся, и разница между её именем и моим станет простой формальностью.

Последняя мысль понравилось мне больше других.

В шесть часов без десяти слугитель записал «Последнюю стену» за номером 4172.

— Автор? — спросил он.

— Марк Лаваль.

Он записал.

Всё произошло так легко, что на секунду я обиделся на мир. Подлость, ради которой человек собирает всю свою волю, должна встречать хотя бы небольшое сопротивление — запертую дверь, внимательный взгляд, внезапный гром. Но перо только скрипнуло по бумаге.

Мне выдали квитанцию. Я спрятал её во внутренний карман, прямо над сердцем.

• • •

Мадлен ждала меня у окна. На столе стояли две тарелки супа, накрытые перевёрнутыми мисками, чтобы не остыли.

«Ну что?» — спросила она беззвучно, одним только взглядом.

— Приняли на рассмотрение.

Она медленно выдохнула. Не вскрикнула, не бросилась мне на шею — только осела, будто долго несла тяжёлую вещь и наконец могла поставить её на пол.

— Я знал, — сказал я.

— Нет. Ты только говорил, что знаешь.

— Для нас с тобой одно и то же.

Она подняла на меня сияющий взгляд.

В ту ночь мы не спали. Мадлен говорила о новой картине: женщина ждёт последний омнибус под дождём, а в окне за её спиной уже гасят свет. Я строил планы мастерской, поездки в Италию, большого дома. В каждом плане имя автора «Последней стены» звучало всё тише.

Я лежал рядом с Мадлен, чувствуя тепло её плеча. Пока она не знала, мне казалось, что ещё ничего не совершено. Правда существовала только во мне, а значит, я всё ещё был её хозяином.

Через четыре дня пришло письмо. «Последнюю стену» месье Марка Лавалья принимали на выставку.

Мадлен прочла его трижды.

— Здесь только твоё имя, — сказала она.

Я заранее приготовил ответ, который отрепетировал заранее несколько десятков раз.

— Потому что полотно сдавал я. Это имя подателя, а не автора.

Она нахмурилась.

— Чиновник ошибся. Мы исправим перед открытием, — добавил я.

Я произнёс это с такой беспечностью, что она сразу расслабилась и начала щебетать о том, как мы будем ходить по выставке рядом с другими посетителями, рассматривающими её картину.

Утром я подарил ей тюбик дорогой кобальтовой краски. Мадлен поцеловала меня и сказала, что теперь простит неловкому чиновнику всё. Её прощение, предназначенное другому, принесло мне неожиданное облегчение.

До открытия оставалось две недели.

Меня вызвали во дворец для уточнения каталога. Потом пригласили присутствовать при развеске. Затем один из членов жюри, седой пейзажист Девер, попросил рассказать, где я нашёл этот мотив.

Сначала я отвечал коротко.

— На улице Сен-Лазар.

— Вы знали жильцов?

— Немного.

— Эти отметки роста... удивительная деталь.

— Мой отец отмечал мой рост на стене. Он умер ещё когда я был маленьким, — ответил я, опустив глаза.

Ложь легла на язык без усилия. Девер тронул меня за локоть в попытке выразить безмолвное утешение, совмещенное с невысказанной радостью от моих страданий, ведь только благодаря им появилась эта деталь.

После этого чужая память постепенно стала открываться мне сама. Я рассказал, как зимой протекала крыша и мальчик Марк представлял свою кровать лодкой. Как отец-переплётчик сидел у камина. Как после смерти матери на обоях остался прямоугольник от портрета. Я придумал только даты, потому что не знал их точно. Всё остальное взял у Мадлен — из тех вечеров, когда она лежала рядом и верила, что рассказанное останется между нами.

Мою биографию слушали с трогательным восхищением. Собственная жизнь начала казаться мне необычайно захватывающей.

Я приходил во дворец ежедневно. Картина висела в центральном зале, немного выше уровня глаз, между итальянским пейзажем и портретом императорского офицера. Возле неё всегда кто-нибудь стоял. Я научился по выражению лиц понимать, когда зритель сначала видит стену, а потом — пустую комнату.

Каждый новый взгляд будто прибавлял что-то к моему телу. Я становился выше, тяжелее, заметнее. Мне казалось, над рамой вспыхивает невидимое число: семь зрителей, двенадцать, сорок три. Если зал пустел, число замирало, и я испытывал досаду, похожую на голод.

Газета напечатала короткую заметку: «Молодой Лаваль обнаруживает редкую способность соединять общественное преобразование столицы с интимной утратой».

Я вырезал её и носил в кармане.

Мадлен в эти дни работала дома. Ей не выдавали пропуска до официального открытия, а я убеждал, что картина ещё висит плохо и смотреть рано.

— Ты исправил каталог? — спрашивала она.

— Директор отсутствовал.

— А сегодня?

— Перепечатывать уже поздно. Перед открытием выставки положат карточку с исправлением.

— С моим именем?

— Разумеется.

Она хотела верить мне сильнее, чем я боялся быть разоблачённым.

За день до открытия Мадлен купила тёмно-синюю ленту и пришила её к старому платью. Я застал её перед зеркалом. Она подняла волосы и попросила застегнуть маленькую пуговицу на шее.

Мои пальцы долго не справлялись.

— Ты волнуешься больше меня, — сказала она.

В зеркале мы стояли близко: её лицо впереди, моё над её плечом. Мы выглядели как люди на семейном портрете, написанном до того, как с ними случилось несчастье.

— Мадлен, — начал я.

Она встретила со мной глазами в отражении.

Мне хотелось сказать всё. Вместо этого я поцеловал её в затылок.

— Ты прекрасна.

— Надеюсь, это не требуется исправлять перед открытием выставки? — улыбнулась она.

• • •

Утром Париж заполнился экипажами. К Дворцу изящных искусств стекались дамы в широких юбках, дипломаты, военные, критики, художники и люди, желавшие быть принятыми за критиков или художников. Под стеклянной крышей стоял гул, похожий на море. Пахло духами, мокрой шерстью, свежим лаком и цветами, которыми украсили лестницы.

Я вошёл один.

Мадлен задержалась: хозяйка попросила помочь с заболевшим ребёнком. Мы договорились встретиться у картины в полдень. До полудня оставалось сорок минут — достаточно, чтобы найти директора и потребовать изменить карточку.

Возле «Последней стены» меня остановил Девер.

— Вот наш парижский археолог, специализируется на старых зданиях! — воскликнул он. — Лаваль, познакомьтесь: графиня де Ларош, барон Вайс из Вены, месье Обри из «Журналь де Деба».

Я поклонился.

На раме под картиной блеснула новая табличка:

МАРК ЛАВАЛЬ

ПОСЛЕДНЯЯ СТЕНА

1878

Имя было напечатано крупнее названия.

— Расскажите графине о матери, — попросил Девер.

Я рассказал.

Потом меня спросили об отце, и я рассказал об отце. Обри захотел узнать, символизирует ли лестница движение современного общества вверх или невозможность возвращения. Я ответил, что настоящая лестница всегда ведёт одновременно в обе стороны, но человек выбирает направление после того, как ступит на неё.

Он записал и это.

Подшли другие. Круг вокруг меня расширялся. Кто-то произнёс слово «медаль». Вайс спросил, позволю ли я после закрытия парижской выставки отправить полотно на несколько месяцев в Вену. Графиня попросила позволения представить меня императрице, если та посетит зал.

Я знал, что Мадлен войдёт с минуты на минуту. Каждая минута могла стать последней, в которой я ещё являлся автором картины. Поэтому я старался прожить её полнее.

В половине первого я увидел синюю ленту.

Мадлен стояла за спинами зрителей. Сначала она смотрела только на картину. Её лицо осветилось тем тихим счастьем, которое я видел утром после окончания работы. Потом взгляд опустился на табличку.

Счастье не исчезло сразу. Оно словно не поняло, что должно исчезнуть.

Мадлен прочитала моё имя. Посмотрела на нижний угол холста. Сделала шаг ближе. Люди расступились, приняв её решимость за право.

Она увидела подпись.

Наши глаза встретились.

Я продолжал говорить. Не помню о чём. Возможно, о свете.

Мадлен повернулась и вышла из зала.

Я мог пойти за ней. Ноги даже сделали движение, но Вайс положил ладонь мне на плечо.

— Что насчёт Вены, месье Лаваль?

— После Парижа, — ответил я.

Эта фраза задержала меня ещё на минуту бессмысленного разговора. Затем графиня задала вопрос. Потом Обри попросил повторить мысль о лестнице. Когда я наконец освободился, Мадлен уже не было в зале.

Я нашёл её во внутреннем дворе за дворцом. Там складывали пустые ящики и упаковочную солому. Сквозь открытую дверь доносились музыка и голоса; во дворе было прохладно и почти тихо.

Мадлен стояла лицом к кирпичной стене.

— Посмотри на меня, — сказал я.

— Я и так весь день смотрю на стены.

— Я собирался исправить имя.

— Когда?

— Сегодня.

— До того или после того, как пообещал мою картину барону Вайсу?

— Я ничего ему не обещал.

— Значит, осталось только поблагодарить его за прекрасный отзыв о картине?

Она повернулась. Я ожидал слёз, но их не было. От этого мне стало страшнее.

— Что бы ты сделала с картиной, если бы её не приняли? — спросил я. — Убрала бы в мастерскую? Показала Бонне? Он похвалил бы тебя и посоветовал писать цветы. Под моим именем картину увидели и оценили.

— То есть ты сделал это для картины? — с иронией спросила она.

— Для нас.

— Не произноси это слово.

— Мы всё равно будем вместе. Я объясню после награждения. Скажу, что полотно написано совместно. Тебе дадут заказы. Мы поженимся.

— И тогда моё имя действительно станет необязательным.

— Ты ведь знаешь, как устроен наш мир.

— Сегодня я узнала, как устроен ты.

Она вынула из сумки сложенный лист. Это был подготовительный рисунок стены: быстрые угольные линии, отметки цвета, дата и её подпись.

— Я принесла его, чтобы показать тебе, — сказала она. — Утром мне показалось, что ты волнуешься из-за жюри. Я хотела сказать, что без тебя не решилась бы выставить картину.

— Мадлен...

— Я могла бы сейчас войти с этим рисунком в зал. Могла позвать директора. Могла сказать всё при критиках.

Она протянула лист мне.

— Сделай это сам.

— Что?

— Вернись и скажи, кто написал картину.

В её голосе не было угрозы. Она предлагала мне не спасение картины и даже не спасение нашего будущего. Она предлагала шанс спасти того человека, которого любила во мне.

— Они уже не поверят, — сказал я.

— Поверят. Ты умеешь говорить убедительно.

— Но я буду уничтожен.

— Нет. Ты будешь унижен. Это не одно и то же.

Я посмотрел на рисунок. Мадлен долго молчала. Она разорвала рисунок пополам. Потом ещё раз. Куски упали в пустой ящик.

— Зачем? — спросил я.

— Чтобы твой выбор принадлежал тебе. Без страха передо мной.

Из зала донеслись аплодисменты. Кто-то искал меня.

Мадлен поправила синюю ленту на платье.

— Пойдём, Марк. Тебя ждут.

• • •

Мы вернулись вместе.

Возле картины собралось ещё больше людей. Девер заметил Мадлен и приветливо улыбнулся.

— А вот и молодая дама! Лаваль, представьте нас.

Наступила пауза. Небольшая, почти незаметная. В ней помещалась вся моя оставшаяся жизнь.

Я мог произнести: «Мадлен Богарне, автор этой картины».

Я увидел, как изменятся лица. Как Обри опустит карандаш. Как Вайс уберёт ладонь с рамы. Как краснеет Девер. Как моё имя уже завтра появится в газете не среди открытий выставки, а среди скандалов. Я представил возвращение в мастерскую, Ахилла у шкафа, долговую книгу торговца, шёпот в кафе.

И ещё я увидел Мадлен. Она станет известна. Её будут приглашать туда, куда меня не пригласят. Люди, которым я только что рассказывал её детство, склонятся к ней и станут слушать. Я буду стоять рядом — мужчина, который носит её картины.

— Мадлен Богарне, — сказал я. — Моя бывшая ученица.

Слово «бывшая» пришло само. Девер поклонился.

— Вы, должно быть, гордитесь учителем, мадемуазель.

— Больше, чем он может представить, — сказала Мадлен, не повернув голову в мою сторону.

Обри не заметил неловкости и спросил:

— Мадемуазель помогала вам в работе над полотном? Кажется, вы знаете изображённый дом.

Это был второй шанс. Иногда судьба бывает настойчива из простой жестокости.

— Да, и Мадлен сделала несколько подготовительных набросков, — ответил я. — И также помогла натянуть холст.

Кто-то одобрительно заметил, что великий мастер умеет направить даже скромный талант. Девер похлопал меня по плечу.

Мадлен подошла к картине. Она не смотрела на подпись — только на голубую комнату.

— Здесь я родилась, — сказала она графине.

— Как интересно! — воскликнула та. — Значит, месье Лаваль нашёл свою тему благодаря вам?

— Нет, ну что вы! — ответила Мадлен. — Он нашёл её благодаря себе.

Она повернулась ко мне.

— Вы украли не холст. Холст можно вернуть. Вы украли моё имя и решили, что ваше будет смотреться под моей жизнью лучше.

Гул вокруг стих. Не полностью — выставка была слишком велика, чтобы заметить нашу катастрофу, — но люди рядом замолчали.

Я почувствовал, как кровь прилила к лицу.

— Мадлен, не устраивай сцену.

Она едва улыбнулась.

— Сцена уже ваша, месье Лаваль.

Её глаза наконец наполнились слезами, но голос остался ровным.

— Я любила вас, когда вы ещё ничего не доказали миру. Оказалось, именно этого вы и не смогли мне простить.

Она сняла с платья синюю ленту. Несколько секунд держала её в руке, словно не знала, что с ней делать, потом положила на край рамы.

И ушла.

Никто не остановил её.

Девер кашлянул. Обри посмотрел на меня, ожидая объяснений. Рядом с ним карандаш застыл над блокнотом.

Я рассмеялся.

— Простите, господа. Молодые художницы принимают участие в работе мастера ближе к сердцу, чем следует. Мадемуазель Богарне была мне безразлична.

Это объяснение понравилось всем своей простотой. Графиня понимающе опустила глаза. Вайс усмехнулся, и, вероятно, вспомнил что-то своё, услышав слово «была». Девер заговорил о женской впечатлительности. Уже через минуту как ни чём не бывало продолжился неразличимый на отдельные голоса шум шепота, сплетен и обсуждений, как это обычно бывает на всех выставках.

Я стоял перед «Последней стеной», окружённый людьми, и чувствовал, как из картины исчезает всё, что видел утром в мастерской. Исчезла девочка. Исчез переплётчик. Исчезла мать. Остались композиция, свет, новизна мотива и моё имя внизу.

Аплодисменты снова поднялись под стеклянной крышей.

На этот раз я поклонился от чистого сердца.

• • •

В тот вечер комната Мадлен была пуста.

Она забрала два платья, ящик с красками, письма от сестры и чашку с отколотой ручкой. Всё остальное оставила: этюды, старую шляпу, книги, мою рубашку, которую собиралась заштопать. На столе лежал ключ.

Я сел на её кровать.

Снизу доносился голос хозяйки, на улице звонил колокольчик торговца молоком, сосед снова играл мелодию, которую никогда нельзя сыграть до конца. Комната была наполнена обычными звуками. Только в центре открылась пустота, такая чёткая и точная, словно Мадлен заранее написала её на холсте.

Я ждал до полуночи. Потом поднялся в мастерскую.

Ахилл стоял у стены лицом к полотну. Я зажёл лампу и впервые посмотрел на него без надежды. Его скорбь была огромной, красивой и совершенно ложной. Мне захотелось прорезать холст ножом. Но я не сделал этого. Даже плохая картина, подписанная моим именем, казалась мне достойной защиты.

Я начал писать письмо для Мадлен.

«Я признаюсь завтра».

Зачеркнул.

«Я хотел спасти твою работу».

Зачеркнул.

«Прости меня».

Эти два слова выглядели на бумаге беднее всего. Всего лишь простая просьба одного человека к другому. В них не было ни объяснения, ни благородного мотива, ни отблеска будущей славы.

Под утро письмо превратилось в несколько листов, доказывавших, что виноваты жюри, общество, положение женщин, бедность и сама Мадлен, доверившая мне картину. Себе я отводил роль человека, вынужденного совершить дурной поступок ради великого искусства.

Я перечитал написанное и восхитился стройностью доводов.

Затем я бросил письмо в костёр, и оно сгорело всего за несколько секунд.

• • •

Через три дня «Последняя стена» получила почётную золотую медаль Всемирной выставки 1878 года в Париже.

На церемонии моё имя произнесли дважды: сначала конферансье запнулся, а потом произнес имя громче и правильно. Мне приколотли к сюртуку увесистый металлический круг с гравировкой. Выставка захлёбывалась в аплодисментах. Я думал, что счастье должно быть похоже именно на это: шум, направленный в твою сторону.

Позднее я узнал, что Мадлен уехала к сестре в Руан. Кто-то говорил, что она работает гувернанткой. Кто-то видел её рисунки в маленькой лавке. Я мог написать, поехать, найти. Но с каждым днём воображаемая мной дорога до Руана становилась длиннее, а речь, которую я собирался произнести, — совершеннее. В конце концов я решил дожидаться часа, когда смогу предстать перед ней человеком, достойным прощения.

На следующее утро меня вызвали в дирекцию выставки.

За письменным столом сидел барон Вайс. Накануне я принял его за промышленника, но теперь узнал, что он возглавлял Венское общество искусств и промышленности — учреждение, в котором банкиры решали, что считать прекрасным.

Вайс был напряжён, вежлив и говорил по-французски так осторожно, будто каждое слово принадлежало кому-то другому. По правую руку от него сидел директор выставки, по левую — сухой человек из банкирского дома Ротшильдов. На столе лежал договор, перевязанный зелёной лентой.

— Прежде всего, месье Лаваль, — сказал Вайс, — полотно остаётся вашей собственностью.

Он произнёс это с особым уважением, как говорят человеку, которого собираются очень дорого обмануть.

— Мы не хотим покупать «Последнюю стену». Покупка убила бы её историю. Публика любит знать, что шедевр однажды вернётся к художнику.

Вайс развернул договор. Венское общество просило предоставить полотно на восемь месяцев. Сначала его должны были показать на зимней выставке в Вене, затем — в Мюнхене, Праге и Берлине. Организаторы получали исключительное право на публичный показ и на изготовление гравюр для каталогов и газет. По окончании путешествия картину обещали доставить в Париж за счёт общества, под охраной и в той же раме.

— Она объедет Европу и вернётся к вам, — сказал Вайс. — В отличие от большинства людей, картины после путешествий как правило возвращаются прежними.

— Вы платите за восемь месяцев? — поправил банкир

— За право показать картину, — поправил банкир. — Собственность остаётся у автора.

Он положил поверх договора банковский чек.

В первой строке стояло моё имя. Ниже — сумма, написанная и цифрами, и словами, чтобы даже воображение не могло принять её за ошибку.

Я перечитал число. Потом ещё раз.

Оно превышало всё, что я заработал за свою жизнь. На эти деньги можно было заплатить долги, снять мастерскую на северной стороне, купить краски на годы вперёд, нанять натурщи-

ков, поехать в Рим и вернуться оттуда человеком, которому уже не приходится объяснять, что он художник. Можно было даже найти Мадлен, снять для неё дом, заполнить его пустыми холстами и назвать это раскаянием.

Последняя мысль оказалась самой приятной. Деньги позволяли мне представить прощение ещё одной вещью, которую я однажды смогу себе позволить.

— Здесь, вероятно, лишний ноль, — сказал я.

— Нет, — ответил банкир.

— Тогда не хватает ещё одного.

Все рассмеялись, и атмосфера сразу изменилась и стала расслабленной, как у людей, которые еще вчера знали, что случится завтра.

— Половина выплачивается сегодня, — сказал банкир. — Вторая половина — после прибытия картины в Вену.

— А вдруг публика в Вене её не поймёт?

— Публика понимает то, за что заплачено достаточно много.

Мне понравилось, как это прозвучало.

Рядом с договором лежал мой фотографический портрет. Серьёзный мужчина в новом куртке смотрел чуть в сторону, где по замыслу фотографа находилось будущее. Теперь его собирались печатать в венском каталоге вместе с историей о доме моего детства. Из Вены оттиски отправят в Берлин, из Берлина — в Лондон. Газеты придумаю слова, которые я якобы сказал, критики сократят и поправят их, издатели сделают понятнее, и вскоре люди, которых я никогда не встречу, будут помнить моё выдуманное детство лучше, чем я своё настоящее.

Мужчина на моем фотографическом портрете казался выше меня, увереннее и совершенно не нуждающемся ни в каких Мадлен.

— Где подписать?

Мне указали четыре строки: на договоре, на страховом свидетельстве, на разрешении воспроизводить картину и на расписке о получении чека.

Я подписал каждую.

На последнем листе чернила собрались на кончике пера тяжёлой каплей. На мгновение рука сама вывела первые буквы имени — «Мад...». Я встрепенулся, выругался про себя, неловкими штрихами превратил «д» в букву «р» и быстро дописал оставшиеся буквы:

Марк Лаваль.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Цена воздуха

Был первый солнечный день после затяжной дождливой недели. Вена с удивительным благодушием улыбалась мне, пока я неспешно следовал в контору акционерного общества «Венский городской банк» на Випплингерштрассе. С необыкновенно пронизывающей теплотой, растекающейся по всему телу, я думал о своём месте маклера в биржевом зале; о счетах в банке, которые хранят записи о деньгах, хотя ни у меня, ни у банков этих денег на самом деле нет; о миллионах гульденов, распределённых между акциями железных дорог, строительных обществ; о гостиницах, которые были проданы и перепроданы уже десятки раз, но к строительству которых еще даже не приступали.

— Подпишите здесь, здесь, и еще вот здесь, — сказал служащий банка, придвигая ко мне три листа. — И на обороте, рядом с итоговой суммой.

Мы стояли в узкой комнате при банке. За матовым стеклом двигались тени служащих, с улицы доносился стук экипажей, а в конторе шумели десятки голосов, смешанные с шорохом перебираемых бума, стуком каблучков и звоном пересчитываемых монет.

На бумагах, под названием железнодорожного общества и обещанием двенадцати процентов годовых, оставалось белое место для подписи человека, готового принять неизбежность процветания Вены и всех её жителей.

Я подписал каждый лист:

«Марк Фальк».

Служащий промокнул чернила, сложил бумаги и вышел через дверь за моей спиной.

Я забрал у портного серый сюртук, за пошив которого пришлось отдать почти 200 гульденов. Но зато он выходил гораздо более убедительным и влиятельным (пусть только по моему мнению) всех моих прежних сюртуков. Затем вспомнил, что должен Францу Келлеру за печать тысячи проспектов, и решил сразу зайти к нему, пока задержавшийся платеж не успел превратиться в неловкий долг.

Через полчаса я вошёл в типографию.

Марта стояла у наборной кассы и проверяла пробный лист. Она работала в типографии своего брата Франца Келлера. Вокруг неё теснились ящики с литерами, стопки бумаги и банки краски. Ручной пресс занимал половину комнаты. Каждый раз, когда рабочий опускал тяжёлый рычаг, дерево стонало, металл ударял о металл, а на другом конце машины появлялось новое обещание будущего.

Марта подняла голову, улыбнулась мне, негромком и очень деликатно кашлянула, но тут же отвернулась и прижала к губам платок. За последнюю неделю я слышал этот кашель слишком часто и потому научился не замечать.

Марта была не похожа на девушек, которых художники помещают в центр полотна. Она никогда не стояла неподвижно и не умела принимать красивую позу. Пока говорила, она поправляла набор, пересчитывала листы, снимала нитку с рукава или искала карандаш, уже зажатый у неё за ухом. Её светло-каштановые волосы были собраны так строго, что к вечеру несколько прядей неизменно объявляли независимость. Серые глаза смотрели внимательно, без кокетства, словно любой человек, вошедший в типографию, мог оказаться опечаткой.

Мы были помолвлены три месяца.

Официально об этом знали только её брат Франц, моя квартирная хозяйка и официант в кафе «Централь», который ставил перед нами один кофейник и две чашки. Неофициально знала вся улица, потому что тайна считается настоящей тайной только после того, как её обсуждают соседи.

Марта подняла пробный лист, на котором внизу было написано «Биржевой вестник, Вена, май 1889».

— Проспекты будут готовы к четырём дня, — сказала Марта. — Если ваш господин Вальднер снова пришлёт текст в самый последний момент, я напечатаю его ошибки крупнее названия общества.

— Ошибки убеждают публику, что текст писал живой человек.

— Двенадцать процентов прибыли убеждают публику лучше, — засмеялась она, и её полосы прильнула к моей груди.

Акционерное общество называлось «Новая дунайская железная дорога». На гравюре поезд пересекал каменный мост, за которым поднимался город с куполами, фабричными трубами и счастливым населением. Дорога пока заканчивалась в поле в двадцати милях от Вены. Каменный мост существовал только на гравюре. Город за ним был составлен из видов Линца, Пешта и воображения рисовальщика.

Однако акции общества росли третью неделю подряд.

— Ты сама купила бы эти акции? — спросил я.

Марта посмотрела, не закрыл ли Франц дверь в соседнюю комнату.

— Конечно, нет.

— Почему?

— Поезд нарисован слишком быстро, — уверенно ответила она.

— Это скорость будущего.

— Нет, просто художник очень торопился получить деньги за рисунок.

Я рассмеялся. Она подошла ближе и поправила мой галстук испачканными краской пальцами.

— Закрой свои сделки после выставки, — сказала она. — Мы уже накопили достаточно.

— Достаточно для чего?

— Для нашей счастливой жизни.

Я поцеловал её в лоб. Кожа показалась горячей.

— У тебя жар.

— Здесь просто душно.

— Давай сходим к врачу, это может быть серьёзно.

— Ничего страшного, сходим после открытия выставки, — сказала она с настолько наигранной беспечностью, что это очень бросилось мне в глаза.

— Это будет послезавтра.

— Значит, не придётся тратить деньги на поход к врачу, я как раз выздоровею к послезавтра.

Она снова улыбнулась и вернулась к набору. Я видел, как дрогнули её плечи от сдержанного кашля, но мысли мои уже были только о железной дороге.

• • •

Вена в то время торговала будущим оптом и в розницу.

Город расширяли, мостовые перекладывали, фасады украшали гипсовыми богинями, а вдоль Рингштрассе поднимались здания, каждое из которых собиралось надолго пережить своих владельцев. Гостиницы ставили дополнительные кровати в балльных залах. Владельцы меблированных комнат повышали плату всякий раз, когда на вокзал прибывал иностранный поезд. Извозчики учили приветствия на всех языках и ругательства на одном, понятном всем.

В парке Пратер заканчивали подготовку к Всемирной выставке. Над деревьями возвышалась Ротонда — огромный купол, под которым человечество намеревалось разместить доказательства собственного совершенства.

В машинных павильонах уже блестели германские локомотивы и паровые насосы. Из ящичков извлекали японские ширмы, персидские ковры, американские жатвенные машины и французские зеркала. Австрия хотела показать миру всё, что умеет производить.

Первого мая мы с Мартой пришли на открытие.

Утро было холодным и дождливым. Дамы подбирали юбки, мужчины проклинали грязь и уверяли друг друга, что погода улучшится после речи императора. Военные оркестры играли одновременно в разных концах парка. Запах мокрой земли смешивался с дымом, духами, конским потом и горячими сосисками.

Марта впервые за несколько недель надела светлое платье. На шее у неё была узкая зелёная лента — подарок, который я купил у торговца, не спросив цены. Мне нравилось вспоминать об этом поступке: он доказывал, что я не жаден.

Мы вошли в Ротонду вместе с толпой.

Внутри голоса поднимались к куполу и возвращались многократно усиленными. Казалось, один человек мог прошептать у входа «богатство», а под сводами уже гремело «богатство, богатство, богатство». Марта остановилась, запрокинув голову.

— Здесь можно поместить весь наш квартал, — сказала она.

— Через десять лет здесь поместится весь мир.

— Куда денутся люди?

— Станут посетителями.

Она взяла меня под руку.

Мы переходили от павильона к павильону. Марта задерживалась у печатных машин, проводила пальцами по новым шрифтам и задавала мастерам вопросы, на которые те сначала отвечали мне. Я задерживался у моделей железных дорог, гостиниц и доходных домов. На каждом

стенде я видел не предмет, а компанию, не компанию, а акции, не акции, а цифры, которые могли подняться.

Иногда над экспонатами будто появлялись маленькие зелёные числа. Они менялись без участия наборщика: плюс два, плюс пять, плюс двенадцать. Я знал, что должен коснуться их пальцем, и тогда перед глазами откроется график — тонкая линия на светящемся стекле. Но стоило мне моргнуть, как оставались только таблички, написанные тушью.

— Что ты ищешь? — спросила Марта.

— Возможность.

— Они здесь в каждом ящике.

— Поэтому важно выбрать ту, которую остальные ещё не заметили.

В буфете мы встретили Вальднера, старшего партнёра нашей биржевой конторы. Он носил бакенбарды, серебряную булавку и выражение человека, которому хорошие новости сообщают заранее. Вальднер угостил нас шампанским и рассказал, что акции Дунайского строительного банка поднимутся не менее чем на четверть.

— Откуда вы знаете? — спросила Марта.

— Если знают правильные люди, это становится правдой.

— Или слухом.

— Разница между правдой и слухом определяется тем, на чьих счетах появляется прибыль.

Он повернулся ко мне.

— Покупайте завтра. Через неделю поблагодарите.

— Через неделю я хочу закрыть все сделки, — сказал я.

Марта удивлённо посмотрела на меня.

— Вот как?

— Мы женимся в июне. Снимем квартиру возле парка. Ты выберешь обои, Франц получит новый пресс, а я стану человеком, который приходит на биржу только из любопытства.

— Таких людей не бывает, — сказал Вальднер.

— Надеюсь, я буду первым.

Мы выпили по бокалу вина.

На обратном пути дождь усилился. Я поймал экипаж, хотя Марта тихо протестовала против цены, запрошенной извозчиком. Мы сидели близко, колени касались друг друга. За запотевшим стеклом плыли фонари Рингштрассе.

— Ты действительно закроешь сделки? — спросила она.

— Как только курс поднимется ещё на десять пунктов.

— А если он поднимется на девять?

— Подожду десятый.

— А если на одиннадцать?

— Было бы глупо уходить перед двенадцатым.

Марта прислонилась головой к моему плечу.

— Именно этого я и боюсь.

Я обнял её. Под тонкой тканью платья она казалась неожиданно лёгкой.

Экипаж качнуло на выбоине. Марта резко выпрямилась и закашлялась. На этот раз кашель не проходил. Она отвернулась к окну, прижимая платок к губам. Я попросил кучера остановиться, но она удержала меня за рукав.

Когда приступ закончился, на белом полотне осталось красное пятно. По форме оно напоминало маленькую печать, которую обычно ставят на документах.

• • •

Доктор Гольц жил на первом этаже дома возле Шоттентор. В его приёмной пахло воском, сушёными травами и мокрыми пальто. На стенах висели анатомические рисунки, где человеческое тело выглядело аккуратнее, чем в жизни.

Марта сидела на стуле, сложив руки на коленях. Зелёная лента всё ещё была у неё на шее. Она смотрела не на меня, а на латунную ручку шкафа.

Доктор долго слушал её грудь деревянной трубкой. Просил вдохнуть, задержать дыхание, покашлять. Потом постучал пальцами по спине и снова приложил ухо.

Я ждал, что он поставит Марту перед плоской белой поверхностью, из которой появится изображение её рёбер и тёмное пятно в лёгком. Я видел это так ясно, что даже оглянулся в поисках аппарата. Но в комнате были только трубка, таз с водой и солнечный луч, разделённый жалюзи на полосы.

— Оденьтесь, мадемуазель, — сказал доктор.

Марта поправила платье. Её пальцы не слушались, и я застегнул верхнюю пуговицу. Доктор многозначительно посмотрел на меня.

— Говорите при мне, — сказала Марта.

Доктор сел за стол.

— Я не люблю называть болезнь раньше, чем уверен.

— Мне кажется, вы уверены.

Он посмотрел на неё с уважением.

— Есть признаки лёгочной чахотки. Возможно, болезнь ещё ограничена. Но кровотоечение и лихорадка требуют немедленных мер.

Слово «чахотка» прозвучало тише остальных. Именно поэтому оно заполнило комнату.

Я взял Марту за руку. Она не ответила на пожатие.

— Что нужно делать? — спросил я.

— Уехать из города. Нужно правильное лечение специальными лекарствами, ну и, конечно, покой, чистый воздух, хорошее питание, постоянное наблюдение. В Гёрберсдорфе, в Силезии, доктор Бремер принимает лёгочных больных, он лучший во всей Европе. Я отправлю ему сообщение по телеграфу сегодня.

— Когда должна ехать?

— Вчера. Или можете попросить болезнь подождать окончания выставки.

Марта едва заметно улыбнулась кончиками губ. Я даже не сразу понял, что сказал доктор.

— Лечение займёт несколько месяцев. Возможно — год. Я не могу обещать выздоровления, но у Марты есть шанс, если она уедет немедленно.

Потом он назвал сумму. Тысяча двести гульденов требовались для первого взноса, дороги и трёх месяцев пребывания. Остальное можно было перечислить позднее.

— Я найду деньги, — сказал я.

Марта впервые посмотрела на меня.

— Марк...

— Не сейчас.

— У Франца нет такой суммы.

— Я сказал, что найду.

Доктор выписал направление и счёт. Внизу поставил дату: восьмое мая 1889 года. Место будут держать до завтрашнего вечера.

На улице Марта остановилась под навесом аптеки. Дождя уже не было, но небо оставалось низким и серым.

— У тебя есть эти деньги? — спросила она.

— Есть.

Я ответил сразу. Правда ещё не успела стать трудной.

— Тогда почему ты сказал «найдёшь»?

— Потому что деньги не у меня, они находятся в банке.

— Значит, их не нужно искать.

— Искать не нужно, но нужно высвободить.

Она прислонилась к каменной стене.

— Я не хочу, чтобы ты разорился из-за меня.

— Я не разорюсь.

— И не хочу быть долгом, который ты будешь помнить всю жизнь.

— Ты не долг.

— А что?

Я хотел сказать «любовь», но слово показалось слишком простым после разговора о деньгах.

— Ты моё будущее.

Марта закрыла глаза.

— Тогда, пожалуйста, не вкладывай меня ни во что.

Я привлёк её к себе. Прохожие обходили нас, стараясь смотреть с той степенью безразличия, которая выдает особое внимание к происходящему.

— Сегодня вечером я принесу деньги Францу, — сказал я. — Завтра ты уедешь. В июне я приеду к тебе. Мы будем гулять в горах, ты поправишься, а осенью вернёшься и станешь жаловаться на нашу квартиру.

— На цвет обоев.

— Особенно на цвет обоев.

Она положила голову мне на грудь.

— Не обещай больше, чем можешь оплатить, Марк.

• • •

В банке меня ждал Вальднер.

Он стоял у окна в кабинете управляющего и барабанил пальцами по стеклу. На столе лежала телеграмма из Берлина. Акции нескольких железнодорожных обществ падали, но венский рынок ещё держался.

— Нервничают, — сказал Вальднер. — К вечеру успокоятся.

— Мне нужны тысяча двести гульденов наличными.

Он перестал барабанить.

— Сегодня?

— Сейчас.

— Тогда придётся закрыть часть ваших позиций.

— Закрывайте.

Вальднер взял карандаш и сделал расчёт. Я смотрел, как под его рукой мои акции превращаются в столбцы цифр. Если продать сейчас, я сохраню большую часть прибыли. После оплаты лечения у меня останется достаточно, чтобы снять квартиру, рассчитаться с типографией и несколько месяцев не появляться на бирже.

Иными словами, останется достаточно для всего, что я обещал Марте.

— Жаль, — сказал Вальднер.

— Почему?

— Дунайский строительный банк объявит завтра о слиянии. По моим сведениям, курс поднимется не меньше чем на сорок процентов.

— Завтра?

— До полудня.

Он подвинул ко мне расчёт. Внизу стояла сумма, которую я получу, если подожду один день.

Она была почти вдвое больше стоимости лечения.

— Сведения надёжные?

— Человек, который сообщил их, обедает сегодня с министром.

— Это ответ?

— На бирже это лучший ответ из возможных.

Я посмотрел на счёт доктора Гольца. Бумага лежала во внутреннем кармане, но я видел цифру сквозь ткань: тысяча двести.

Всего один день.

Марта могла уехать послезавтра. Врач говорил о завтрашнем вечере, но врачи всегда называют крайний срок с запасом. Место в лечебнице не исчезнет за одну ночь. За дополнительную плату исчезнувшее место появится снова. Да и чахотка не та болезнь, которая развивается за один-два дня.

— Подготовьте продажу к завтрашнему полудню, — сказал я.

— Разумно.

— И выдайте мне тысячу двести сразу после сделки.

— Разумеется.

Я вышел из банка с чистой совестью.

• • •

Вечером типография была закрыта. Франц открыл мне в рубашке с закатанными рукавами. В глубине комнаты горела одна лампа. Пресс молчал, и без его стука помещение казалось меньше.

— Она наверху, — сказал Франц. — Ждёт тебя.

— Я говорил с банком.

— Деньги принёс?

— Деньги будут завтра после обеда.

Он долго смотрел на меня.

Франц был старше Марты на семь лет. Крупный, медлительный, с вечно чёрными от краски ногтями, он редко вмешивался в наши дела. Мне нравилось принимать его молчание за одобрение.

— Врач сказал, завтра уже надо ехать, — произнёс он.

— Завтра деньги и будут.

— Поезд отходит в десять утра.

— Я смотрел расписание, есть и вечерний.

— Но место могут отдать другому больному.

— Не отдадут, за деньги они могут поставить дополнительную койку.

— Ты уверен?

— Я знаю, как работают деньги.

Франц вытер руки о фартук. Я прошёл мимо него к лестнице.

Комната Марты находилась под крышей. Там стояли узкая кровать, умывальник, два стула и шкаф, на дверце которого она приколотила образцы обоев. На столе лежал открытый чемодан. В него уже сложили бельё, книги и тёплую шаль.

Марта сидела у окна.

— Ты принёс деньги? — спросила она.

Я снял перчатки, медленно, по одному пальцу.

— Банк уже закрыл кассу.

Небольшая и абсолютно правдоподобная ложь сама собой выскользнула у меня из рта.

— Деньги вложены. Чтобы получить наличные, нужно продать бумаги. Завтра курс будет выгоднее.

Марта слушала спокойно. Мне хотелось, чтобы она рассердилась: тогда я мог бы защищаться.

— Врач сказал ехать утром.

— Вечерний поезд ничем не хуже.

— Место держат до вечера.

— Мы успеем.

— А если не успеем?

— Если у тебя есть деньги, ты везде успеваешь, даже если опаздываешь.

— Марк.

Она произнесла моё имя тихо. В нём не было упрёка — только просьба перестать говорить о будущем и ответить в настоящем.

Я мог спуститься, вернуться в банк к управляющему, найти директора дома, разбудить кассира, занять у Вальднера, заложить свои акции или просто отдать Францу расписку, под которую он получил бы деньги утром.

— Сейчас нет свободных денег, — повторил я.

Марта посмотрела на свои руки, затем бросила быстрый взгляд на меня. Я ничего не добавил. В комнате было душно. Я открыл окно. С улицы донёсся грохот экипажа и чей-то смех. Марта задрожала, и я снова закрыл створку.

— Ложись, — сказал я.

— Не командуй мной, как своими акциями.

Она попыталась встать, но ноги не удержали. Я подхватил её и перенёс на кровать. На короткое мгновение она прижалась ко мне всем телом. Я почувствовал жар, лёгкое дыхание и сердце, бившееся слишком быстро.

Я уложил Марту, поправил подушку и сел рядом.

— Завтра после обеда всё будет готово, — сказал я настолько уверенно, что сам поверил своим словам.

— Если я усну, ты останешься?

— Останусь.

Она закрыла глаза, продолжая держать меня за рукав.

Через несколько минут дыхание стало ровнее. Я сидел неподвижно и слушал. На столе лежало направление доктора. Рядом — железнодорожное расписание. Поезд в Гёрберсдорф отходил в девять утра.

В половине одиннадцатого снизу трижды постучали в дверь.

Франц поднялся с телеграммой. Я осторожно освободил рукав.

Сообщение было от Вальднера:

«СЛИЯНИЕ СОГЛАСОВАНО. ПРИХОДИТЕ К ОТКРЫТИЮ. ПРОДАЖА ДО ПОЛУДНЯ».

Я перечитал.

— Что случилось? — спросил Франц.

— Ничего.

— Ты уходишь?

Я посмотрел на спящую Марту.

— Вернусь до её пробуждения.

Я высвободил рукав и ушёл.

• • •

Девятого мая Вена проснулась богатой. Богатство можно было получить каждому одним росчерком пера.

У биржи толпились экипажи. Кучера ругались, посыльные протискивались между лошадьми, люди выбегали из дверей банков и тут же возвращались, словно надеялись застать внутри ещё более выгодный ответ. В кофейнях газеты переходили из рук в руки. Слухи двигались быстрее печати: одно общество прекратило выплаты, другое готовило слияние, крупный

спекулянт исчез, министр собирался выступить, император будто бы намеревался поддержать рынок. Каждая новость опровергала предыдущую, но ни одна не уменьшала желания разбогатеть до обеда.

В зале стояла жара.

Маклеры кричали названия компаний и цены. Бумаги поднимались над головами, как белые птицы, которым негде сесть. Мел царапал доски. Большинство котировок падало, но возле названия Дунайского строительного банка цифры росли так быстро, что служитель не успевал стирать прежние.

Я нашёл Вальднера у колонны.

— Состоялось? — спросил я.

Вместо ответа он развернул меня к доске.

Сначала я увидел цену открытия. Ниже стояла новая. Между ними было почти ровно сорок процентов.

Управляющий уже подготовил расчёт. Пока он складывал столбцы, я следил, как цифры превращаются в деньги, а вчерашнее обещание — в свершившийся факт.

— Сорок процентов чистой прибыли, — сказал он. — За вычетом комиссии.

Я вынул счёт доктора Гольца и положил рядом с расчётом. Впервые с момента приёма эта бумага не казалась приговором. Теперь она была просто расходом — крупным, но вполне посильным.

Вальднер не посмотрел на счёт.

— Вы можете продать сейчас, — сказал он.

— Да, и напоминаю, мне нужны тысяча двести наличными.

Мы пробились в боковую комнату.

— Разумеется. Но прежде послушайте меня, — сказал Вальднер.

— Конечно, но Марта должна уехать сегодня.

— Она и уедет. До закрытия кассы ещё несколько часов.

Он запер дверь кабинета и понизил голос, хотя за стеной стоял такой шум, что нас не услышал бы и человек, приложивший ухо к замочной скважине.

— Через неделю готовится ещё одно слияние. Северная железная дорога поглотит Моравское кредитное общество. Документы пока не подписаны, но люди, которые будут их подписывать, уже заказали шампанское.

— Насколько поднимутся бумаги?

— Осторожный расчёт — на четверть. Но, скорее всего, около тридцати процентов.

Слова прозвучали буднично. Именно поэтому я поверил им.

Перед глазами на мгновение возникла гладкая чёрная поверхность. На ней светилась зелёная цифра: плюс тридцать. Ни бумаги, ни чернил, ни руки наборщика — только число, которое само знало, что должно увеличиваться. Я моргнул, и поверхность исчезла.

— Когда нужно внести деньги? — спросил я.

— Сегодня до двух. В сделку пускают только тех, кто вошёл до объявления.

— Оставьте мне тысячу двести, — сказал я. — Остальное вложите.

Вальднер сделал пометку карандашом и подвинул ко мне расчёт.

Я увидел две суммы: ту, что могла вырасти, и ту, что должна была лежать без движения ради Марты.

— Сколько я недополучаю? — спросил я.

— Если сведения подтвердятся? Триста шестьдесят гульденов.

— Только на этой тысяче двухстах?

— Да.

Триста шестьдесят гульденов. Новый пресс для Франца стоил дороже. Но на эти деньги можно было снять квартиру возле парка, оплатить обои, купить Марте тёплое пальто для Силезии. Можно было сделать всё то, что отличает простое спасение от великолепного.

На стол принесли телеграмму. Посыльный назвал моё имя.

«МЕСТО СОХРАНЯЕТСЯ ДО ПЯТИ ЧАСОВ. НЕОБХОДИМ ВЗНОС. ГОЛЬЦ». Я разорвал конверт.

Я положил телеграмму рядом с расчётом Вальднера.

— Если я вложу всё, когда смогу получить деньги обратно?

— Через неделю. Возможно, раньше.

— А если слияния не будет?

— Тогда просто выйдете почти без потерь.

«Почти». Это слово всегда оставляет человеку достаточно места, чтобы сделать именно то, чего он хочет.

Я представил Марту в вечернем поезде. Франц мог занять деньги до следующего утра. Доктор Гольц мог принять расписку. В лечебнице могли подождать. Все вокруг могли немного подождать, потому что мои деньги наконец научились торопиться.

— Вкладывайте всю сумму, — сказал я.

Вальднер поднял брови.

— И тысячу двести?

— Через неделю я оплачу не только лечение. Я оплачу год, отдельную комнату и поездку Франца к сестре.

— Разумно.

Управляющий подал мне два листа. Первый подтверждал, что я получил сорок процентов прибыли. Второй обещал ещё около тридцати.

— Подпись здесь.

Перо не дрожало. Я написал уверенной рукой:

«Марк Фальк».

• • •

К типографии я пришёл без четверти пять.

Она была открыта, но внутри царил непривычная пустота. Исчез большой пресс. На полу остались четыре светлых прямоугольника там, где стояли его ножки, и длинная царапина до самой двери.

Франц складывал литеры в деревянный ящик.

— Где Марта?

Он не поднял головы.

— На вокзале.

— На каком?

— Северном.

— Почему пресс увезли?

Франц поставил ящик на пол.

— Потому что врач не принимает обещания, а железная дорога не возит больных в долг.

— Ты заложил пресс?

— За девятьсот гульденов. Доктор дал остальное под мою расписку.

Я посмотрел на пустое место. Утром здесь стояла машина, на которой печатали мои проспекты, мои общества и мои двенадцать процентов. Теперь типография была похожа на рот, из которого вырвали единственный зуб, способный жевать.

— Не нужно было этого делать, — сказал я.

Франц медленно повернулся ко мне.

— Ты принёс деньги?

— Они будут через неделю.
— Значит, сегодня их нет.
— Я верну пресс. Куплю новый.
— Марте нужен не пресс.
Он снял с крючка пальто.
— Поезд через пятьдесят минут.

• • •

Северный вокзал был заполнен людьми, уезжавшими из Вены раньше, чем город успеет предъявить им счёт. Носильщики везли сундуки, клетки, шляпные коробки и свёрнутые ковры. Иностранцы, приехавшие на выставку, спорили у касс. Спекулянты держали небольшие чемоданы и старались не встречаться глазами.

Мы нашли Марту в вагоне второго класса.

Она сидела у окна, укрытая серой шалью. Рядом лежал маленький чемодан. Зелёную ленту она сняла и обмотала вокруг ручки, чтобы узнать багаж.

— Ты всё-таки пришёл, — сказала она.

Франц посмотрел на меня и вышел на платформу, оставив нас в купе одних.

Я сел напротив Марты. Вагон пах угольным дымом, влажной шерстью и апельсинами, которые кто-то вёз в корзине.

— Я не знал, что Франц заложит пресс. Через неделю я всё верну.

— Будущее — это очень удобное место, Марк. Там всегда находятся деньги, здоровье и правильные слова.

— Сделка задержалась.

Ложь получилась хуже прежних. Теперь у неё не было даже нужды казаться правдой. Марта посмотрела на меня внимательно. Болезнь сделала её лицо тоньше, но глаза оставались типографскими: они всё ещё видели каждый неправильный штрих среди огромного газетного полотна.

— Ты потерял деньги? — спросила она.

Я замешкался ответить. Вдруг в коридоре вагона послышался знакомый голос.

— Фальк! А я думал, вы отправились праздновать.

В дверях вагона появился Вальднер. На руке у него висело дорожное пальто, под мышкой была кожаная папка. Вероятно, он провожал кого-то из клиентов, но мне показалось, что сюда его привело само моё молчание.

— Не сейчас, — сказал я.

— Буквально одно слово. Поздравляю: сорок процентов уже зачислены. А по второму слиянию пришло подтверждение из Берлина. Если всё пройдёт по плану, через неделю получите ещё около тридцати. Все средства размещены, как вы распорядились.

И Вальднер подошёл к нам. Я встал, заслоняя ему Марту.

— Я сказал: не сейчас.

— Конечно, простите за мою неловкость. — он поклонился Марте, — Моё почтение, Мадам.

Вальднер отступил и вышел из вагона.

Марта смотрела на меня.

— Я делал это для нас.

Она закрыла глаза и повернулась к окну. На платформе прозвучал свисток. Проводник попросил провожающих выйти.

Я наклонился к ней.

— Я приеду через неделю. С деньгами.

— Через неделю, — повторила Марта, и первый раз за всё время, что мы провели вместе, я не смог понять выражение, с которым она произнесла фразу.

Марта закашлялась. Я протянул руку, но она подняла ладонь, не позволяя мне прикоснуться.

— Марта...

— До свидания, Марк.

Проводник снова свистнул.

Я вышел на платформу. Франц занял вместо меня моё место напротив Марты. Поезд дёрнулся, металлические сцепления ударили одно за другим. Марта не помахала. Она смотрела прямо перед собой, пока вагон медленно проходил мимо меня.

Сквозь плотную ткань кармана пиджака меня раскалённым огнем жгли бумаги с тридцатью процентами будущего. Моего будущего.

Поезд медленно уходил от платформы. За моей спиной кассир открыл ящик и начал отсчитывать серебро. Монеты падали на медное блюдо одна за другой. Тридцатая монета ударилась о металл, когда последний вагон исчез за железными арками.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Чужое место

— Николай просил у меня первый вальс, — сказала Мария.

Она произнесла это так буднично, словно сообщила, что на Неве снова тронулся лёд или что за ужином будут подавать стерлядь. Однако её пальцы задержались на маленькой танцевальной книжке, висевшей у запястья на серебряном шнурке.

На первой строке карандашом было написано ровным почерком, со слегка легкомысленными завитушками:

«Николай Ланин».

Ниже, вторым, было моё имя:

«Марк Адрианов».

Я посмотрел на зал. Николай находился у подножия мраморной лестницы, окружённый людьми, каждому из которых казалось, что именно его Николай рад видеть больше остальных. Он смеялся, слегка запрокинув голову. На нём был тёмно-синий мундир с серебряным шитьём; белая перчатка лежала на рукояти шпаги. Старики хлопали его по плечу, молодые офицеры уступали ему дорогу, женщины поворачивались вслед, прежде чем успевали вспомнить о приличиях.

Он умел быть заметным, не стараясь.

— Ты обещала первый танец мне, — сказал я.

— Ты опоздал.

— Всего на семь минут. Часы в передней спешат.

— Все часы начинают спешить, когда ты опаздываешь.

Мария закрыла книжку.

Она была в светло-сером платье, почти серебряном под люстрами. На шее лежала одна нитка жемчуга. Тёмные волосы были подняты высоко, но возле левого виска выбилась тонкая прядь. Я знал, что через два часа она устанет поправлять её и позволит ей касаться щеки. Я любил эту прядь, её привычку считать ступени и то, как она опускала глаза, когда говорила нечто слишком искреннее.

Мы любили друг друга с осени.

Об этом знали Николай, тётка Марии и, вероятно, половина Петербурга. В столице любовная тайна сохраняется безупречно до первого бала, после чего её узнают все, кроме человека, которого она способна оскорбить.

— Откажи ему, — сказал я.

— Почему?

— Потому что я прошу.

— Это не причина.

— Для женщины, которая собирается стать моей женой, вполне достаточная.
Мария взглянула на меня. Её серые глаза потемнели.

— Когда ты попросил меня стать твоей женой?

— Я собирался.

— С октября?

— Подходящий момент ещё не наступил.

— А Николай говорит, что подходящий момент отличается от неподходящего только тем, что им воспользовались.

Я легонько уцепил её за талию, и она заливисто засмеялась.

Николай разговаривал с хозяином дома — седым графом Юрьевым, служившим при дворе и обладавшим редким талантом ничего не обещать, но таким убедительным способом, что собеседник уходил от него преисполненным надежды. Граф что-то сказал Николаю, тот наклонился, выслушал и ответил, Юрьев рассмеялся.

В те годы мне иногда виделись странные вещи. Над головами людей будто вспыхивали короткие надписи: имя, должность, состояние, круг знакомств. Я почти мог коснуться любой из них и узнать, кому этот человек обязан успехом, с кем спит, чего боится и сколько людей желает видеть его мёртвым.

Над Николаем светились бы три слова:

«Умён. Красив. Успешен».

Я моргнул. Остались только люстры, белые колонны и гости.

Я состоял старшим секретарём при Министерстве императорского двора, переводил донесения, составлял записки, которые подписывали другие, и уже третий год ожидал назначения, способного доказать, что молодость моя не была ошибкой.

Николай служил в том же министерстве.

Мы были одного возраста, окончили один университет и начинали с одинакового жалованья. Через семь лет я всё ещё сидел в комнате с двумя окнами на кирпичную стену, тогда как Николай успел побывать в Вене, Константинополе и Париже, получил чин, орден и кабинет с ковром, по которому посетители ступали тише, чем по церковному полу.

Он был моим лучшим другом.

Оркестр заиграл первые такты вальса.

Николай извинился перед графом Юрьевым и направился к нам. Люди расступались перед ним с той естественностью, с какой вода расступается перед хорошо построенным кораблём.

— Мария Михайловна, — сказал он, поклонившись. — Я пришёл потребовать обещанное.

— Ты мог бы сначала поздороваться со мной, — заметил я.

— Я видел тебя у входа. Ты спорил с лакеем.

— Он никак не мог найти меня в списке приглашённых, и уже почти хотел меня выгнать. Николай улыбнулся, обнял меня и протянул Марии руку.

Она посмотрела на меня, словно давая последнюю возможность превратить всё в шутку.

— Танцуй, — сказал я. — Не заставляй самого удачливого человека Петербурга ждать.

Николай засмеялся, а Мария чуть заметно вздрогнула, положила пальцы на его руку, и они вышли в середину зала. Я остался у колонны.

Вальс подхватил их почти сразу. Николай танцевал легко, без усилий. Мария сначала держалась прямо и холодно, но через несколько кругов сказала ему что-то. Он ответил. Она засмеялась. Я не слышал слов, но видел её улыбку.

Вокруг меня двигались пары. Белые плечи, чёрные мундиры, драгоценные камни, атласные ленты сливались в медленное вращение. Мне показалось, что весь зал представляет собой

огромный механизм, назначение которого — снова и снова возвращать Марию в объятия Николая.

Я знал, что существует способ остановить музыку одним движением пальца. Где-то должна была находиться маленькая кнопка, после нажатия на которую оркестр умолкнет, свет погаснет, люди замрут, а я получу возможность начать вечер заново.

Я даже почувствовал эту кнопку под большим пальцем.

Но в руке у меня был только бокал шампанского.

Я выпил его до дна.

• • •

После вальса Мария вернулась ко мне. Затем она танцевала с молодым кавалергардом, затем с секретарём шведской миссии, затем с человеком, имени которого я не знал и только потому заранее считал его ничтожеством.

За стеклянными дверями зимнего сада темнели пальмы. Между кадками стояли скамьи, над искусственным гротом журчала вода. Хозяин дома расходовал немалые деньги, чтобы среди петербургской зимы гости могли на несколько минут забыть, в какой стране находятся.

Мы отошли к окну.

Снаружи падал снег. На набережной ждали экипажи; фонари освещали крыши карет и спины лошадей. За ними лежала чёрная Нева.

— Что сказал тебе Юрьев? — спросил я.

Николай помолчал.

— Значит, ты всё-таки заметил.

— Тебя трудно не заметить. Ты занимаешь слишком много пространства.

— Решение ещё не подписано.

— Какое решение?

— Князь Светлов собирается оставить должность управляющего Особой канцелярией. Юрьев сообщил, что моё имя представят первым.

Мне показалось, что я ослышался.

Управляющий Особой канцелярией имел прямой доступ к министру, собственный штат, казённый экипаж и право входить во многие дворцовые комнаты без предварительного доклада. Николай перескочил бы сразу через несколько ступеней, на которых люди проводили половину жизни.

— Первым? — переспросил я.

— Есть ещё два кандидата.

— Которым уже выразили соболезнования? Поздравляю с такой возможностью! — почти искренне воскликнул я и горячо обнял Николая.

Он опёрся ладонью о подоконник.

— Если назначение состоится, я предложу тебе возглавить отдел иностранной переписки. Жалованье будет почти вдвое больше нынешнего.

— Вот как? Ты уже распределяешь должности?

— Пока только твою, — с некоторым усилием пошутил он.

Я рассмеялся, Николай посмотрел на меня, собираясь что-то ответить, но передумал.

Через несколько минут граф Юрьев поднял бокал и попросил внимания. О назначении он не сказал ни слова, однако произнёс длинную речь о молодых людях, «соединяющих редкие способности с безупречной преданностью службе». Все смотрели на Николая.

Я тоже смотрел.

Когда гости зааплодировали, мои ладони встретились раньше, чем я успел их остановить.

• • •

Марию я нашёл в малой гостиной.

Она сидела рядом с пожилой тёткой и слушала рассказ о целебных свойствах минеральных вод. Увидев меня, Мария поднялась.

— Позволь проводить тебя домой, — предложил я с напускным равнодушием.

— Бал ещё не закончен, — беспечно и навеселе ответила она.

— Для меня закончен.

Тётка Марии посмотрела на нас с интересом, но вмешиваться не стала. Её поколение считало, что молодые люди должны совершать собственные ошибки, иначе им будет нечего вспоминать в старости.

Через четверть часа мы сидели в санях.

Кучер укрыв наши колени медвежьей полостью. Лошади тронулись, колокольчики зазвенели, и ярко освещённый дом поплыл назад. На набережной ветер бросал снег в лица прохожим. Дуговые фонари Невского горели холодным белым светом, отчего каменные фасады казались театральными.

У перекрёстка экипажи смешались в беспорядочную толпу. Мне снова почудилось, что движение должно подчиняться цветным огням: красному, жёлтому, зелёному. Я почти знал, в какой последовательности они обязаны зажигаться.

Вместо них городской махал руками и кричал на извозчиков.

— Я готова выйти за тебя, — сказала Мария.

Я повернулся к ней.

Она смотрела прямо перед собой.

— Что?

— Ты слышал.

— Прямо здесь? Мы стоим между экипажем с пьяным корнетом и телегой с капустой.

— Значит, у нашего брака будут свидетели и приданое.

Мария взяла меня за руку под полостью.

— Мне не нужен твой чин, — продолжила она. — Не нужен дом на набережной. Не нужен казённый экипаж. Мне нужен ты.

— Это ты сейчас так говоришь.

— Я говорю это еще с октября.

— А через десять лет как ты будешь говорить?

— Через десять лет я, буду говорить громче. Особенно если ты плохо будешь плохо слышать.

Мы вновь обнялись. Я чувствовал тепло её руки. Мне хотелось до боли сжать пальцы, назвать день, пообещать ей жизнь — не великую, не завидную, не достойную светской хроники, а нашу.

— Я должен сначала получить назначение, — сказал я.

Мария высвободила руку.

— Какое?

Я не знал. В управлении не оставалось ни одной должности, которая после возвышения Николая не выглядела бы подарком от него.

— Подходящее.

— Я так рада, надеюсь, это будет самая лучшая должность в мире! — возбуждённо засмеялась она.

Мы вновь крепко обнялись и дальше до её дома ехали молча. Когда сани остановились, я помог Марии выйти. Она задержалась на ступеньке.

— Завтра ты снова будешь собой? — спросила она.

— А кем я был сегодня?

— Сегодня ты был другим.

Она поднялась по лестнице, не обернувшись.

• • •

На следующее утро весь департамент уже знал о предстоящем назначении.

Официально Николай оставался начальником одного из отделов. Неофициально служащие вставали при его появлении быстрее, просители улыбались почтительнее, а старший швейцар впервые назвал его «Ваше Превосходительство» с таким видом, будто случайно открыл всем государственную тайну.

В приёмной с самого утра уже было два букета цветов с карточками. К полудню букетов стало семь.

Я сидел над французской корреспонденцией и слышал, как за стеной Николая поздравляют люди, ещё вчера называвшие его мальчиком. Голоса проникали сквозь дверь отдельными словами:

«исключительная честь»;

«совершенно заслуженно»;

«в столь молодые годы»;

«его величество непременно одобрит».

Около двух часов Николай вошёл ко мне без стука.

— Ты занят?

— Пытаюсь определить, сколько раз французский посланник способен употребить слово «безотлагательно» в письме, не содержащем ничего срочного.

Он положил на мой стол красную кожаную папку.

— К Юрьеву поступило прошение об объединении железных дорог Санкт-Петербурга и Москвы под управлением нового акционерного общества. Он поручил мне составить заключение.

— Последнее испытание?

— Он не называл это испытанием.

Николай открыл папку.

Внутри лежали карты путей, таблицы доходов, перечни долгов и список учредителей нового общества, названного «Северной магистралью». Петербургская и Московская дороги должны были лишиться отдельных управлений, а всё движение между столицами — перейти в одни руки.

— Мне нужна твоя помощь, — сказал Николай.

— У тебя ведь целый департамент.

— В департаменте никто не умеет читать акционерные прошения и человеческие намерения одновременно.

— А я умею?

— Иногда.

Он придвинул ко мне карту железных дорог.

Станции стояли вдоль чёрной линии маленькими прямоугольниками. На секунду мне показалось, что их можно передвигать прикосновением пальца: взять одну, потянуть по гладкой поверхности, поставить в другое место. Вся линия сама перестроится, пересчитает расстояния и покажет новый путь.

Я коснулся бумаги.

Чернила остались неподвижными.

— Я предложу объединить управления, но оставить дороги в собственности казны, — продолжил Николай. — Обществу можно передать движение на двенадцать лет. Без гарантированного дохода и с утверждением тарифов министерством.

— Учредителям не понравится.

— Они просят казну оплатить перестройку путей и обеспечить шесть процентов по облигациям.

— Значит, в убытке останется государство.

— Только если общество не получит прибыли.

— А если получит?

— Тогда прибыль останется у общества.

Николай собрал бумаги.

— Вечером обсудим всё у меня. Я пригласил Марию с тёткой. Тётка держит бумаги обеих дорог и помнит биржевые ссоры лучше, чем служащие помнят казённые долги.

— Ты часто с ней разговариваешь?

— Иногда.

— Обо мне?

— Обычно.

Он закрыл папку.

— Не опаздывай.

• • •

Подготовка продолжалась три недели.

По утрам мы работали в канцелярии, вечерами встречались в доме Николая. На его обеденном столе вместо тарелок лежали карты. Хрустальный бокал обозначал Петербург, второй — Москву, серебряные ложки изображали боковые ветви, а фарфоровая солонка стояла на месте Твери.

Мария сидела напротив меня и перечитывала список учредителей.

— У этого господина три места в правлении, — сказала она. — Под разными названиями.

— У него три общества, — ответил Николай.

— Какая удивительная способность всюду приезжать раньше поезда.

Николай рассмеялся и вычеркнул повторяющуюся фамилию.

Я следил за тем, как легко они понимали друг друга.

Иногда их руки встречались над столом, но Мария скорее отдёргивала пальцы, а Николай начинал особенно внимательно изучать список акционеров.

За неделю до дворцового бала граф Юрьев вызвал Николая к себе.

Николай вернулся через час и положил на стол своё заключение.

— Нужно переделать, — сказал он.

— Что именно?

— Срок управления увеличить до тридцати пяти лет. Облигации обеспечить казной. Тарифы передать правлению общества.

— Это предложил Юрьев?

— Он назвал это более широким пониманием государственных интересов.

— А назначение?

Николай снял перчатки и аккуратно положил их рядом с папкой.

— Сказал, что после решения железнодорожного вопроса препятствий не останется.

Он не посмотрел на меня.

Второй вариант мы готовили четыре дня. На первом листе излагалось прошение, на втором лежала карта объединённых линий, на третьем перечислялись обязательства казны, на четвёртом — права нового общества. Среди учредителей была фамилия Юрьева, но с другими инициалами.

Мария прочла третий лист и сиреневым карандашом подчеркнула фразу о покрытии убытков из казённого резерва.

— Её спрятали слишком глубоко, — сказала она.

Николай перенёс фразу выше.

Накануне заседания комиссии он принёс окончательный вариант в канцелярию. Все исправления внесли чисто, суммы переписали, внизу стояли подпись Николая и дата.

— Завтра утром отнесёшь в министерство, — сказал он.

— Почему я?

— Потому что доверяю тебе.

Он произнёс это, продолжая складывать бумаги.

— Комиссия заседает в полдень, — добавил Николай. — Если она примет этот вариант, Юрьев сразу передаст решение министру. Тогда же подпишут назначение. Он сказал почти прямо.

— Поздравляю.

— Тогда же я подам записку о твоём переводе, — сказал Николай, не глядя на меня, — В отдел, который ты давно хотел возглавить.

— Спасибо!

— Если не хочешь, я не стану.

Мы засмеялись, он перевязал папку узкой красной лентой и протянул мне.

На краю его стола лежал первый вариант заключения. В нём дороги оставались за казной, общество не получало гарантированного дохода, а тарифы по-прежнему утверждало министерство.

Николай перечеркнул план мягким карандашом и написал сверху:

НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ.

— Это уничтожить? — спросил я.

— Да. Отдай в канцелярию, пусть сожгут его.

Он надел шинель и вышел.

Я остался один. На столе лежали два плана. Я взял кусок свежего хлеба, оставшийся на подносе после завтрака, и провёл мякишем по карандашным линиям. Графит бледнел медленно. Слово «не употреблять» сначала стало серым, затем исчезло, оставив на бумаге несколько тусклых полос. Я добавил очень бледных, похожих полос по всему документу, чтобы это выглядело естественнее, и слегка примял документ.

Работа заняла меньше пяти минут.

Я вложил первый план в красную папку.

Переделанный вариант свернул и спрятал во внутренний ящик своего стола.

Когда я закрыл ящик, мне почудился короткий щелчок, будто где-то подтвердилось действие, совершённое от моего имени.

На следующее утро я отнёс папку в министерство за четверть часа до заседания комиссии. Секретарь сверил подпись Николая с сопроводительной запиской, поставил на ней время и унёс красную папку за двойную дверь.

• • •

Вернувшись в канцелярию, я сел за французскую корреспонденцию. Заседание проходило в другом крыле министерства, за дверями, куда служащих моего чина не приглашали.

Около трёх часов в соседней комнате начали говорить шёпотом. Потом шёпот вышел в коридор.

Первым ко мне заглянул младший столоначальник.

— Слышали? Комиссия приняла заключение Ланина. Дороги остаются за казной. Никакой гарантии по облигациям. Тарифы по-прежнему утверждает министерство.

Он усмехнулся.

— Говорят, граф Юрьев вышел с заседания прежде остальных.

— А Николай? Подпись-то его

— Остался давать объяснения.

Столоначальник исчез так же быстро, как появился. Через несколько минут те же слова повторили в приёмной, потом у лестницы, затем возле гардероба. К четырём часам вся канце-

лярия знала, что комиссия решила вопрос на основании первого плана Николая и что ожидавшее его назначение теперь, вероятно, не состоится.

Николай в тот день не вернулся.

• • •

Вечером на бал он приехал позже меня.

Музыка играла, по паркету скользили пары. В зеркалах отражались мундиры, бриллианты и лица людей, делавших вид, что не замечают происходящего.

Николай переходил от одного гостя к другому и отвечал на поздравления ещё ни о чем не подозревающих людей. Он был весел как всегда.

Бал продолжался.

Но граф Юрьев ни разу не подошёл к Николаю.

Мария нашла меня возле колонны, на том же месте, где я стоял во время их первого вальса.

— Что произошло? — спросила она.

— Комиссия приняла заключение Николая.

— Но Николай показывал нам другой вариант.

Оркестр заиграл громче. Я посмотрел на танцующих.

— В канцелярии было несколько экземпляров.

• • •

На следующий день Николая вызвали к графу Юрьеву. Он вернулся после обеда.

Букеты из его приёмной исчезли. Служащие перестали вставать заранее. Старший швейцар снова обращался к нему по прежнему чину и делал это с особенной отчётливостью.

Николай вошёл ко мне и закрыл дверь.

— Назначение отложено, — сказал он.

— Надолго?

— Юрьев не уточнил.

— Значит, найдут другого.

— Вероятно.

Он подошёл к окну.

— Папку отвозил ты. Она всё время была у тебя?

— До министерства.

Николай кивнул.

— Я сам должен был проверить заключение перед отправкой.

— Ты не мог предположить, что передали первый вариант.

— Не мог.

Он произнёс это спокойно. Мне стало легче, когда он отвернулся.

— Твой перевод тоже придётся отложить, — сказал Николай. — Прости. Я обещал то, чего ещё не имел.

— Ничего страшного.

Он взглянул на меня и вышел.

На следующий день объявили, что должность управляющего Особой канцелярией получит барон, которому исполнилось шестьдесят два года, и двадцать из них он провёл, ожидая именно этого назначения.

Меня не повысили.

• • •

Переделанный план оставался в моём столе.

Несколько раз я собирался сжечь его. Вынимал листы, подходил к камину, видел подпись Николая и возвращал их обратно.

Через неделю Мария приехала ко мне перед театром.

Я ещё не вернулся из министерства. Лакей впустил её и оставил ждать в кабинете. Позднее она сказала, что хотела написать мне записку и искала чистую бумагу.

Когда я вошёл, четыре листа лежали на столе. Мария стояла у окна, не сняв перчаток.

— Я помню эту сиреневую черту, — сказала она.

Возле фразы о покрытии убытков из казённого резерва виднелась сиреневая черта, проведённая её рукой в доме Николая.

— Это черновик, — ответил я.

Я подошёл к столу, но она сложила листы раньше, чем я успел их коснуться.

— Куда ты пойдёшь?

— К Николаю.

— Мария...

— Не надо, Марк.

Она взяла бумаги и направилась к двери.

— Ты вернёшься?

Мария задержалась на пороге, словно не расслышала вопрос.

Затем вышла.

На следующий день Николай не появился в канцелярии.

Он не пришёл и позже. Не прислал записки, не потребовал объяснений и не показал найденный план графу Юрьеву.

Вскоре мне сообщили, что Мария несколько раз приезжала в дом Николая. Однажды её экипаж простоял у его подъезда до глубокой ночи.

Мария вернула мне мои письма.

Они пришли в перевязанной лентой коробке. Внутри не было записки.

Я написал ей семь раз, но не получал ответа ни на одно из посланий.

Через четыре месяца посыльный передал мне бежевый конверт. Знакомым ровным почерком с несколько неловкими завитками в нем было написано:

«Господин Николай Ланин и госпожа Мария Ланина приглашают на свой первый бал господина Марка Адрианова».

ГЛАВА ПЯТАЯ

Второй звонок

В тот год книги приносили нам больше денег, чем мы успевали тратить.

Лавка занимала первый этаж старого дома на улице Прадо, в двух шагах от площади Санта-Ана. Над дверью висела потемневшая вывеска «Книги Вальдеса», доставшаяся мне вместе с помещением, долгами прежнего хозяина и лестницей, которая скрипела под каждым покупателем по-разному. За четыре года мы расплатились с долгами, сняли соседнюю комнату, пробили в стене арку и поставили ещё двенадцать шкафов. Потом шкафов снова стало не хватать.

По утрам к нам приходили студенты и учителя, после полудня — адвокаты, чиновники и дамы из домов на Алькале, а к вечеру появлялись настоящие охотники: люди, способные по запаху переплёта определить столетие и по одной неверно обрезанной странице заподозрить подделку. Мы продавали им старые атласы, первые издания стихов, французские романы в бумажных обложках и молитвенники, между страницами которых иногда обнаруживались засушенные цветы, долговые расписки или чужие признания в любви.

Мануэла работала за высоким столом возле окна. Она вела счета, переписывалась с книготорговцами Парижа и Барселоны и составляла каталоги так, что даже самая унылая богословская брошюра начинала казаться утраченной частью человеческой мудрости. Я ездил на распродажи, осматривал частные библиотеки и торговался. Покупатели считали, что лавка принадлежит мне. Я не разубеждал их. Но всё, что приносило нам настоящее состояние, прежде проходило через руки Мануэлы.

Весной 1922 года мы приобрели библиотеку покойного маркиза де Альмодовара. Его наследникам были нужны деньги и свободные комнаты; нам достались инкунабулы, письма, несколько запрещённых памфлетов и почти нетронутый «Дон Кихот» семнадцатого века. К октябрю большая часть собрания была продана. В банке у нас лежала сумма, которую ещё недавно я побоялся бы произнести вслух.

В последнюю пятницу октября Мануэла закрыла кассовую книгу раньше обычного.

— На сегодня хватит, — сказала она, захлопывая кассовую книгу. — Если мы не научимся иногда закрываться раньше полуночи, скоро придётся поставить кровать между словарями.

В лавке оставались два покупателя. Один листал путеводитель по Толедо, другой уже четверть часа делал вид, что выбирает словарь, хотя на самом деле смотрел на нашу молодую продавщицу Лусию.

— Они ещё не закончили, — заметил я. — Один почти решился купить путеводитель.

— Он листает его с пяти часов. Если до сих пор не нашёл дороги в Толедо, сегодня уже не найдёт. А второй всё равно смотрит не в словарь.

Мануэла подошла к двери, перевернула табличку стороной «Закрыто» и постучала пальцем по стеклу.

За окном, между омнибусом и телегой зеленщика, стоял автомобиль.

Сначала я увидел длинный тёмно-синий капот, затем никелированные фары и открытый кузов, отделанный светлой кожей. Сложенный верх лежал за задним сиденьем аккуратной дугой. Колёса казались непропорционально большими, а весь автомобиль — слишком стремительным для тесной улицы, на которой ему приходилось стоять.

Рядом курил молодой человек в серой форме.

— Скажи, что его владелец зашёл к нам за атласом и сейчас выйдет.

— Не выйдет. Владелица стоит рядом с тобой.

Я засмеялся. Мануэла не улыбнулась.

— Ты хочешь сказать, что он твой?

— Я хочу сказать, что он наш, если так тебе будет легче пережить потрясение.

Она достала из сумочки ключ и положила на кассовую книгу. На кольце была небольшая эмалевая пластинка: «Hispano-Suiza H6B».

Эту модель только начали выпускать. Я читал о ней в автомобильном журнале и однажды видел такое шасси возле гостиницы «Ритц», окружённое мужчинами, которые старались выглядеть так, словно дорогие машины перестали их удивлять много лет назад. Шесть цилиндров, тормоза на всех четырёх колёсах, мощность, годившаяся скорее для самолёта, чем для мадридских мостовых. Открытый кузов кабриолета делал автомобиль похожим на лакированную лодку, по ошибке поставленную на колёса.

Я коснулся ключа, но не взял его.

— Ты заказала автомобиль и ничего мне не сказала.

— Это мой свадебный подарок нам обоим.

— Мануэла... — я не мог набрать воздух в лёгкие и придумать другие слова.

— Что? Если бы я сказала, ты нашёл бы десять причин купить его немедленно, а потом ещё двадцать — отложить покупку. Я решила избавить нас от обеих речей.

— Сколько?

— Три книги маркиза.

— Какие?

— Не скажу. Ты начнёшь складывать, вычитать, а к ужину объявишь, что на эти деньги мы могли купить экипаж, квартиру и половину соседнего дома. Я хочу хотя бы один вечер любить эту машину без твоей арифметики.

Она обошла стол и встала рядом.

— Сегодня едем к маме. Ты обещал ей приехать ещё в сентябре, и этот автомобиль — единственное оправдание, которое она, возможно, согласится выслушать.

— В таком автомобиле? Хоть каждую неделю. При особой необходимости — дважды, — добавил я.

Мануэла взяла ключ с книги.

— Я оставлю машину здесь. В восемь поеду переодеваться, к десяти вернусь. От лавки до маминого дома поведёшь ты — если к тому времени ещё сумеешь найти руль.

— Я не собирался праздновать.

— Конечно.

— Закрою лавку, выпью кофе и буду ждать тебя с выражением образцового благоразумия.

В этот момент за дверью появился Рафаэль Мендоса. Увидев автомобиль, он прижал обе ладони к стеклу и открыл рот.

Мануэла посмотрела на меня.

— Разумеется, — повторила она.

• • •

В половине восьмого мы отпустили Лусию и младшего приказчика, опустили наружные ставни и оставили гореть только лампу в задней комнате. Там, за занавеской, стоял длинный стол, на котором мы разбирали новые поступления, ели и иногда принимали друзей.

Рафаэль привёл с собой Хулиана Сориано и его брата Эстебана. Они принесли коробку сигар, миндальное печенье и бутылку вина.

— Всего одну бутылку? — удивилась Мануэла. — Рафаэль, я начинаю беспокоиться о твоём здоровье.

— Марк сказал, что не собирается праздновать, — ответил тот. — Я решил уважить его желание настолько, насколько вообще позволяет настоящая дружба.

— Настоящая дружба позволила бы тебе принести кофе.

— Тогда это была бы служба милосердия, а не дружба.

Мануэла надела пальто.

— К десяти я вернусь, — сказала Мануэла мне. — Постарайся к этому времени помнить не только собственное имя, но и моё.

— Машина будет здесь, а её будущий водитель встретит тебя стоя и без посторонней помощи.

— В машине я не сомневаюсь. Всё остальное проверю на месте.

Я поднял пустой бокал.

— В безупречном.

Она поцеловала меня в щёку, попрощалась с друзьями и ушла. Через минуту её силуэт скользнул за щелью в ставнях.

Я пил нечасто. Иногда по четвергам встречался с друзьями в кафе, иногда мы засиживались после ужина, и тогда одна бутылка становилась двумя, а разговоры — громче и добрее. На следующий день я возвращался в лавку, жаловался на табачный дым и неделю не вспоминал о вине. Мануэла посмеивалась надо мной, но никогда не просила перестать. Ей не с чем было бороться.

Первый бокал мы выпили за Мануэлу.

— За женщину, которая продала три книги и купила шесть цилиндров, — провозгласил Рафаэль. — Наконец-то литература совершила что-то практически полезное.

— Она не просто продала книги, — возразил я. — Она убедила трёх людей, что без них их библиотеки останутся неполноценными, а жизнь утратит смысл.

— Тогда выпьем ещё и за чувство вины. Без него торговля предметами роскоши давно бы погибла.

Второй бокал я налил себе сам. Рафаэль заметил это и отодвинул бутылку на другой конец стола.

— На этом остановимся, — сказал он. — Иначе Мануэла запретит мне входить в книжные лавки, а я слишком люблю запах непрочитанных книг.

— Тебе давно следует запретить сюда входить. Ты однажды поставил бокал на первое издание.

— И немедленно поднял. Книга даже не успела оскорбиться.

Эстебан закурил. Хулиан рассказывал, как его двоюродный брат пытался проехать на автомобиле через стадо овец и в течение часа убеждал пастуха, что преимущество имеет тот, у кого громче гудок. Мы смеялись, вино чуть согрело, но голова оставалась ясной.

В какой-то момент, когда зашел особенно бурный спор про достоинства моего нового приобретения, Рафаэль достал из внутреннего кармана маленькую стеклянную аптечную баночку. На ней была наклеена этикетка с логотипом: буквы BAYER шли по горизонтали и вертикали, образуя крест, заключённый в тонкий круг. Этот логотип знали все, Bayer была самой знаменитая фармацевтическая фирма в мире.

Внутри баночки лежали круглые таблетки чёрного цвета.

— Это что, аспирин? — спросил я.

На секунду за столом стало тихо. Рафаэль первым запрокинул голову и расхохотался. Хулиан ударил ладонью по столу, Эстебан затрясся от смеха, едва не выронив сигару.

— Ага, точно, аспирин! От головной боли. А еще, говорят, от кашля очень помогает! — выговорил Хулиан.

— Но у меня нет ни кашля, ни головной боли, — сказал я, когда они немного успокоились.

Они залились смехом ещё громче. Рафаэль вытирал выступившие слёзы, а Эстебан безуспешно пытался прикурить упавшую и погасшую сигару.

— Головную боль и все другие виды болей как рукой снимет, — сказал Рафаэль вытряхнул одну таблетку себе на ладонь и протянул её мне. На её чёрной поверхности поблёскивал крошечный выдавленный крест из букв.

Я посмотрел на часы. До возвращения Мануэлы оставалось почти два часа. Раньше, чем наступил новый приступ смеха, я взял таблетку. Она оставила во рту слабую горечь, которая почти сразу исчезла за последним глотком вина.

— Ну? — Рафаэль наклонился ко мне через стол.

— Что — «ну»?

— Головная боль и кашель.

Хулиан притворно положил руки на голову, затем прикрыл рот кулаком и изобразил короткий приступ кашля. Я подождал, пока они отсмеются.

Через полчаса я попрощался.

— Я обещал Мануэле два бокала. Ни больше, ни меньше.

Я перевернул ножкой вверх свой опустевший бокал с вином, и ушёл домой.

• • •

Мануэла вернулась ровно в десять. На ней было кремовое платье, тёмное пальто и новые кожаные перчатки. Рафаэль с братьями уже ушли. Я успел открыть ставни, вынести на улицу складной верх автомобиля и ещё раз протереть ветровое стекло.

— Готов? — спросила она.

— Уже целую вечность. За это время я успел простить автомобилю его цену, снова возмутиться и простить ещё раз.

— Меня не было и минуты.

— Для ожидания тебя этого достаточно.

— Какое счастье, что после свадьбы тебе больше не придётся ждать.

Она посмотрела на пустую бутылку в задней комнате, затем на меня.

— Сколько? — Она кивнула на бутылку.

— Два бокала вина. Первый — за тебя, второй — за автомобиль. Больше не пил.

Она сняла перчатку и коснулась пальцами моей щеки, словно могла определить правду по температуре кожи.

— Ты можешь вести?

— Да.

— Я спрашиваю не о твоей храбрости, Марк. Мне сейчас нужна честность.

— Совершенно уверен. Я давно не чувствовал себя настолько ясно.

— Я всё равно могу повести сама. Машина моя — имею право первой её разбить.

— Очень смешно. Ты ещё не знаешь машину, а ночью центр полон извозчиков, которые считают правила дорожного движения личным оскорблением.

— Именно поэтому мне и надо учиться.

— На обратном пути. Я выведу нас из центра, передам тебе руль и до самого дома не произнесу ни слова.

— Руль я получу. А вот в молчание не верю.

Мануэла посмотрела на автомобиль. В свете уличного фонаря тёмно-синий кузов казался почти чёрным.

— Только медленно. Марк, я серьёзно.

— Медленно, осторожно и с полным уважением к общественному транспорту.

— Если обгонишь хотя бы одного трамвайного кондуктора, обратно пойдёшь пешком.

Она положила ключ мне на ладонь.

Мотор отозвался глубоким ровным звуком. Несколько прохожих обернулись. Один мальчишка побежал за нами до самого угла.

Первые улицы я проехал осторожно. На площади Сибелес пришлось пропустить трамвай, две пролётки и телегу с овощами. Мануэла улыбалась. Ветер вытащил из-под её шляпки прядь волос, и она не стала её поправлять.

— Он красивый, — сказал я. — Неприлично красивый для вещи, которую мы купили вместо трёх хороших книг.

— Я знала, что ты простишь мне цену, как только услышишь мотор.

— Не прости. Я лишь решил отложить возмущение до завтра.

— Тогда остановись. Дальше поведу я, а ты сможешь возмущаться с пассажирского места.

— Теперь уже поздно. Я начал получать удовольствие.

За последними домами движение стало реже. Дорога к дому доньи Кармен тянулась между каменными оградами, полями и низкими рощами. Воздух пах влажной землёй и бензином.

Стрелка на приборе дрожала. Я смотрел на неё и почему-то видел не деления, а красные цифры, сменявшие друг друга без всякой стрелки. Они должны были показывать скорость точнее, холодным светом изнутри.

Я моргнул. Передо мной снова был обычный циферблат.

— Что с тобой? — спросила Мануэла. — Ты опять зажмурился.

— Ничего, просто непривычно, когда ветер дует прямо в лицо.

Дорога пошла под уклон. Впереди показался поворот, за которым начиналась длинная каменная стена, с другой стороны которой был хвойный лес.

И тут мы увидели его.

Посреди дороги стоял дикий зверь незнакомого мне вида.

Сначала я принял его за тень, которую оторвал от ближайшего дерева ветер. Но тень дышала и у неё были глаза. Огромный дикий хищник замер на светлой полосе дороги, низко

опустив голову, но при этом смотрел прямо на нас. Его чёрная шерсть поглощала свет фар, и потому тело казалось вырезанным в самой ночи — не помещённым в неё, а оставленным после того, как из мира вынули всё остальное.

В глазах зверя не было ни янтаря, ни белка, ни влажного живого блеска. Они были полностью чёрными и неподвижными. Зверь не моргал. Казалось, взгляд существовал прежде самого тела и лишь на время избрал эту форму, чтобы дожидаться меня на дороге.

Я остановился и нажал на клаксон.

Резкий звук рассёк ночь, ударился о каменные ограды и вернулся несколькими сердитыми отголосками. Хищник даже не вздрогнул. Только его хвост один раз медленно прошёл над землёй, словно перечеркнул дорогу.

Я посигналил снова — дольше, требовательнее.

Зверь не отвёл глаз.

— Марк, — сказала Мануэла, но голос её донёсся как будто из комнаты за толстой стеной. — Что это?

Мотор опустился до низкого урчания, колёса перестали вращаться, и дорога замерла под нами. Даже ветер исчез. Прядь волос Мануэлы застыла возле её щеки, листья над оградой прекратили дрожать. В движении остался только зверь.

Он сделал шаг. Потом другой.

Шёл он осторожно, почти бережно, ставя лапы так бесшумно, будто боялся разбудить землю. При этом ни разу не моргнул и не отвернулся. Чем ближе он подходил, тем отчётливее я видел тяжёлые плечи, мягкое движение мышц под шерстью и короткое дыхание, колебавшее усы.

— Марк, — донёсся до меня тихий, но при том кричащий шёпот Мануэлы.

Внутри меня поднимался страх, он восставал из живота, стискивал горло, заставлял меня искать заднюю передачу или оружие, которого у меня не было. Но вместе с тем я чувствовал не опасность, а узнавание — тёмное и сладкое, как память о месте, где никогда не бывал.

Я поддался этому чувству, открыл дверцу и вышел.

— Марк, не надо... — голос Мануэлы растянулся и растворился в тишине.

Зверь остановился в двух шагах. Его голова находилась почти на уровне моей груди. От его чёрной шерсти пахло мокрой землёй; пахло камнем, нагретым нестерпимым жаром; пахло надеждой на решение всех проблем всей вселенной.

Я протянул руку ладонью вниз. Хищник втянул воздух. Его ноздри дрогнули. Он обнюхал мои пальцы, запястье, рукав пальто, затем поднял морду к лицу и задержал дыхание у самого моего рта, словно искал там слово, которое я ещё не произнёс.

Я не двигался.

Зверь шагнул ближе, коснулся лбом моей груди и медленно повернулся боком. В этом движении не было ни покорности, ни просьбы. Он подставил мне тело с властью существа, которое заранее знает: прикосновение состоится.

Я положил ладонь ему на спину.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.